

*М. Г. Косменко*

## **ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ БРОНЗОВОГО ВЕКА – РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В КАРЕЛИИ**

*Общие замечания о теории изучения этносов  
и этнической истории*

**К** числу наиболее сложных и дискуссионных проблем изучения далекого прошлого Северо-Западной России, Прибалтики и Восточной Фенноскандии, включая Карелию, относится время сложения и ранние этапы этнической истории предков финноязычных народов – балтийских финнов и саамов. Этническая история – это продукт синтеза данных дополняющих друг друга дисциплин, изучающих расовый облик, язык, материальную культуру, древние общества (Клейн, 1988). Мы попытаемся в общих чертах определить этноисторическое содержание процессов смены основных типов культуры охотничье-рыболовецкого населения, которая трижды происходила в Карелии на протяжении более 2500 лет от бронзового века до Средневековья. Эти вопросы ранее затрагивались (Косменко, 1999), но нуждаются в более детальном рассмотрении. Что в конкретных случаях означают эти явления – изменения материальной культуры при сохранении этноязыковой преемственности, смену населения или иные типы этнических процессов и как их различить и распознать? От объяснения таких ситуаций археологами в немалой степени зависит решение ключевых проблем этнической истории упомянутых регионов.

Среди лингвистов, антропологов, археологов сложился широкий спектр точек зрения относительно происхождения финноязычного населения Прибалтики и Фенноскандии, воплощенных в индивидуальных версиях и общих концепциях, а в последнее время

отчетливее обозначились давние и серьезные разногласия по этому вопросу. Как определить отношение разных гипотез к древней исторической реальности и возможно ли выделить наиболее вероятную из них при отсутствии прямой и нехватке косвенной информации? Прежде всего следует ответить на вопрос о причинах разнообразия концепций, но для этого нужно анализировать факторы, влияющие на формирование взглядов исследователей. Конечно, здесь не место для подробного разбора столь общей проблемы, отметим лишь, что расхождения взглядов финноугроведов наиболее заметно обусловлены приверженностью к сложившимся теориям, школам и исследовательским традициям, дисциплинарной узостью концепций, разным опытом и широтой охвата материалов, индивидуальными склонностями и предпочтениями, стремлением к желаемой ясности и непротиворечивости этноисторических реконструкций. Кроме того, в ряде недавних работ об этнической истории финно-угров отчетливо выражено влияние современных социально-политических реалий. Обсуждаются политическая зависимость этногенетических взглядов финских археологов (Fewster, 1999; Carpelan, 2001a), их дрейф к концепции европейского происхождения финнов в связи с политическими переменами 1990-х гг. в Европе (Matiskainen, 1998; Vilkkuna, 1998), а также новые тенденции решения вопроса о взаимоотношениях финно-угров и славян (дискуссия в FA, XI, 1994). Такого рода зависимость отмечалась и у некоторых представителей российского финноугроведения (см. Кузьминых, Напольских, 1994; Shnirelman, 1996; Matiskainen, 1998).

Возникает вопрос о том, как понимать этнические общности, т.е. субъекты этнической истории. Этноисторические реконструкции делаются преимущественно на базе опыта изучения современных этносов. Есть множество работ, посвященных проблемам изучения этнических общностей, однако этноисторическая проблематика, в частности вопрос о соотношении древней материальной культуры и этноса, теоретически разработана гораздо хуже. В зарубежной этнологической науке второй половины XX в. сложились два альтернативных подхода, основанных на разном понимании сущности этнических общностей и процессов их формирования

(см.: Jones, 1997); эти же направления начали разграничиваться и в постсоветской российской этнологии (см.: Соколовский, 2003; Тишков, 2003).

Примордиальный (*primordial*), по сути дела, эволюционный подход акцентирует природные, биологические особенности этносов, рассматривая их как в своей основе биосоциальные организмы. Этническая принадлежность людей предопределена от рождения и жестко обусловлена внесоциальными кровнородственными узами, которые являются нормативными установками для личного и группового самоопределения, обеспечивающими своеобразие и единство культуры этносов (Shils, 1957; Geertz, 1963; Isaacs, 1974 и др.). Это широко распространенный в науке и укорененный в массовом сознании объективный подход, который базируется на внешнем опознании физических и культурных особенностей различных этносов, основу единства которых видят в родственных связях и общем происхождении. Примордиалисты признают историческую эволюцию форм этносов под влиянием крупных социально-экономических перемен либо как результат видового отбора этнических групп, хотя некоторые авторы заявляют, что человеческая природа универсальна и люди психологически мало изменились со времен охотничье-собираательского общества (обзор см.: Jones, 1997).

Российские этнологи советского периода излагали разные варианты примордиалистского подхода, отдавая приоритет объективным компонентам этноса с акцентом на их эволюции (обзоры см.: Бромлей, 1983; Соколовский, 2003). Этническое самосознание они рассматривали как производный феномен, но решающий для разграничения этносов (обзор см.: Джарылгасинова, 1987). Отсюда разделение на собственно этносы и историко-этнографические общности/области, которые не осознаются людьми, но обладают определенным единством культуры, сложившимся в ходе исторического развития (Левин, Чебоксаров, 1955; Бромлей, 1983 и др.). В некоторых крайних версиях этносы понимаются как «отражение в сознании групповых родственных связей» (Рыбаков, 2003, с. 22), обычно возникают дивергентным путем деления на две части подобно амебам (там же, с. 12) либо формируются в результате

«конstellации пространственно-временных энергетических соотношений» и связанных с ней загадочных «пассионарных толчков», иначе резких спонтанных изменений, вызванных то ли космическими силами, то ли генетическими мутациями, причем внутренняя эволюция этносов приводит их к застою и распаду (Гумилев, 2002, с. 321–324). Многие этнологи постсоветского периода сохраняют приверженность к примордиальному подходу (обзор см.: Соколовский, 2003). В археологии ему ближе всего соответствуют эволюционный и особенно культурно-исторический подходы с представлениями о близком совпадении этносов, расовых и культурных типов (ср. Kossinna, 1909; Брюсов, 1956).

Примордиальный подход фокусирует внимание на объективных устойчивых чертах этносов, которые внешне кажутся определяющими, однако он объясняет «все и ничего», не вскрывая ни мотивы личного самоопределения (люди играют пассивные роли в рамках жестко регламентированной деятельности), ни реальный механизм сложения этнических общностей, которые существуют, по сути дела, в социально-политическом вакууме; он противоречит многим фактам несовпадения ареалов культуры и этноса, неустойчивости этносов и непостоянства их границ (Jones, 1997). В методологическом плане «невыразимая [словами] абсолютная значимость» родственных уз (Geertz, 1963, p. 109), возникающая в результате усвоения «каждым членом этноса объективной примордиальной данности» (Рыбаков, 2003, с. 20), является слишком «смутной и ускользающей», а выводы основаны «в лучшем случае на аргументах *ex post facto*» (Jones, 1997, p. 68). Единство этносов на основе кровного родства иллюзорно, если учесть хорошо известные факты противоречий и борьбы между родственными группами в рамках этноса. Многие народы сложились в результате смешения разнородных этносов. Примордиалистов интересует «человек в этносе, а не этничность в человеке» (Тишков, 2003, с. 32), поэтому «схоластическое представление, что статистические множества, обладающие культурной гомогенностью, социальной однородностью и даже психической одинаковостью, являются природной основой для социальных субъектов... составляет основной порок примордиализма» (там же, с. 136).

Быстро распространившийся в зарубежной этнологии с конца 1960-х гг., а в России в 1990-х гг. инструментальный (instrumental), иначе ситуационный подход подчеркивает зависимость сложения этносов от конкретных исторических и природных условий и событий. Этнос рассматривается как особый вид социальной общности и исследуется социологическими методами. Это субъективно-контекстуальный подход к этносу: посредством «историко-ситуативного» метода, по В. А. Тишкову (2003), описывается механизм деятельности этих сообществ, движущими силами которого являются личное самоопределение и адаптивные мотивы выбора людей в конкретных исторических ситуациях. Согласно Ф. Барту (Barth, 1969, р. 9–38), люди руководствуются индивидуальной стратегией рационального эгоизма и стремятся реализовать свои экономические и политические интересы, используя свободно выбираемую этническую принадлежность. Этнические сообщества являются «организационным сосудом», т.е. инструментом реализации этих интересов. Этнос представляет собой изменчивое образование; устойчивость в кризисных ситуациях Ф. Барт рассматривал как его «аномальную» особенность. Подчеркивая организационную функцию, он отводил второстепенную роль культуре этноса. Другие инструменталисты (Cohen, 1974) признают ограничительную роль общих представлений и норм в рамках коллективно организованной стратегии защиты экономических и политических интересов. Признают и роль культуры, которая «не является суммой стратегий независимых индивидуумов: нормы, верования и ценности...поддерживаются посредством давления группы» (Cohen, 1974, xiii) или определяя этническую группу как общность «на основе культурной самоидентификации по отношению к другим общностям» (Тишков, 2003, с. 115).

Инструментальный подход верно делает акцент на социальных функциях этноса и субъективных мотивах этнического самоопределения людей. Он вполне пригоден для описания механизма деятельности локальных этнических групп и сложения этнического самосознания по отношению к другим группам, однако он узко и односторонне определяет мотивы поведения человека в культурной среде и не дает ясного представления о специфике этнических

общностей. С его помощью трудно описать генезис больших групп родственных народов и удовлетворительно объяснить устойчивость расового облика, языка, некоторых других исторически сложившихся черт этносов. Роль культуры порой сводится к набору символов, которыми люди манипулируют в практических целях, т.е. этнические общности фактически приравниваются к социальным группам интересов (Jones, 1997). Инструментальный подход в общих чертах перекликается с теоретической моделью «новой» археологии, которая в поведении людей придает решающее значение приспособлению к внешним условиям, а в материальной культуре – ее функциям (ср. Binford, 1965).

Оба подхода не исключают, но явно дополняют друг друга, акцентируя разные аспекты изучения этноса. Некоторые зарубежные, да и российские этнологи пытались их объединить, создавая либо модели исторической эволюции форм этносов от первобытных, кровнородственных групп до современных наций и полиэтничных конгломератов, либо классификации этносов по степени их консерватизма/мобильности, но все они не вполне адекватно объясняют внутренний механизм формирования этих сообществ. Ш. Джоунс (Jones, 1997) предлагает «практическую теорию». Это на мой взгляд, достаточно взвешенный, перспективный подход, базирующийся на «теории практики» П. Бурдьё (Bourdieu, 1977) – его можно обозначить как «традиционалистский». Согласно Ш. Джоунс (1997, р. 84), внутренняя общность этнических групп «определяется культурой». Сумма культурных традиций, сложившихся в повседневной жизненной практике общества, с детства формирует самосознание людей и в конечном счете специфику этносов. Приобретенные комплексы психологических стереотипов-предпочтений (*habitus* у П. Бурдьё) стимулируют объединение людей в этнические сообщества и оказывают решающее влияние не только на их поведение в конкретных ситуациях, но и на самые устойчивые расовые и языковые черты, если иметь в виду предпочтения в сфере родства, семейно-брачных традиций и степень языковой восприимчивости/отторжения в ходе взаимодействия этносов.

В археологии данному подходу, пожалуй, наиболее близки установки постпроцессуального направления, декларирующего

символизм культуры и контекстуальный подход к выявлению смысла символики. «Структуры значений присутствуют во всех мелочах повседневной жизни и в большинстве адаптивных решений человеческих групп» (Hodder, 1982, p. 213), откуда следует, что «материальный символ в своем "тексте" бессловесен не больше, чем хмыканье или иной звук в живой речи... проблема заключается в переводе» (Hodder, 1991, p. 126). Символ представляется не только как отражение традиционных стереотипов, но и как средство передачи информации. Этот акцент окрашивает и традиционалистский подход Ш. Джоунс, когда она касается проблемы соотношения этноса и материальной культуры (Jones, 1997, chap. 6). Такое понимание чревато произвольной смысловой трактовкой символических «текстов» материальной культуры при их неверном «переводе».

Опыты применения символично-контекстуальной методики пока не привели к однозначно позитивным результатам. Представления об «этнических» признаках, которыми в культурно-историческом подходе обычно считались все или некоторые отличительные черты культуры, в «процессуальной» археологии ограничили рамки стиля, а позднее еще более сузились, сменившись попытками выделения «эмблемных» (Wiessner, 1990), иначе «иконологических» (Sackett, 1990), символов и стилей в материальной культуре, которые активно сигнализируют социальную или этническую специфику в конкретных исторических условиях, т.е. являются инструментами передачи этнической информации. Этим они отличаются от «самоутверждающего» (assertive) пласта стилистики П. Визнер, или «пассивного изокрестизма» Д. Сэкета, т.е., согласно российской терминологии, от «этнографических» признаков по Ю. В. Бромлею (1983).

С техникой выделения символизирующих этничность признаков и стилей в древней материальной культуре дело обстоит не вполне благополучно. Например, Б. Ульсен (Olsen, 1985) считает керамику железного века Сяр 2 (западный территориальный вариант «ананьинского» пласта древностей железного века Фенноскандии, по М. Г. Косменко (1993), этнической «идиомой», т.е. стилем древних саамов, в то время как «ведрообразная» посуда с

примесью асбеста рассматривается как символическое изобретение и критерий опознания соседних приморских скандинавов (Jørgensen, 1988). Различия между упомянутыми типами посуды существенны и, вероятно, внешне разграничивают разнородные этносы, но остается неясным, являются ли они преднамеренными. На уровне культурной классификации древностей это установить не удастся. Построения Б. Ульсена являются попыткой выявления «эмблемного» стиля с помощью критериев, по его признанию, не поддающихся проверке и, по мнению М. Винклер (Winkler, 1996), недостаточно убедительны. Такая интерпретация является современным вариантом теории «этнических признаков» и немногим отличается, скажем, от подхода М. Е. Фосс (1952), которая считала орнамент в целом этническим маркером. Типам посуды, выделенным обычными археологическими методами, в подобных случаях просто приписывается этническая символика. На мой взгляд, в данном случае вряд ли можно говорить о сигналах, демонстрирующих этническую консолидацию древних саамов – сведения о ней отсутствуют и в более поздних периодах. Речь может идти о комплексе традиционных «этнографических» деталей, присущих древнесаамской посуде Сяр 2 – они представляют древнейший слой в орнаментике современных саамов Фенноскандии (см.: Косменко А. П., 2002, гл. 2) и характерны для северо-западной периферии ареала древностей ананьинского пласта железного века (Косменко, 1993).

Признание керамического стиля этническим «посланием» не раскрывает его содержания. Археологи-постпроцессуалисты делали попытки выявить и объяснить символику структур орнамента. В частности, стиль орнамента древней посуды понимается как «материальная форма идеологии» и символическое художественное решение социальных противоречий (Shanks and Tilley, 1994, chap. 7). Это объяснение базируется на структуралистских метафизических понятиях-оппозициях, якобы универсальных для человеческого сознания и на неомарксистской доктрине развития общества – они прямо применяются к явлениям и их контекстам, так что формальный анализ становится фактически излишним звеном для интерпретации орнамента. Опыт приложения данной модели к

орнаменту посуды мегалитического могильника Fjalkinge культуры TRB южной Швеции (Ibid., p. 155–171) трудно признать удачным. Здесь отсутствуют не только анализ орнаментики посуды в других могильниках, но и такие важные звенья археологического исследования декора, как пространственно-временная изменчивость и компонентный анализ его генезиса в данной культуре. В результате познавательные возможности данной объяснительной концепции остаются нераскрытыми. Прямые проекции предполагаемых социальных и идеологических норм и противоречий в сферу древнего орнамента, произвольная интерпретация его структуры, разрыв между изучением самого декора, функций и ценности глиняной посуды стимулируют расхождение между теорией и практикой и уводят от разработки формальных методов анализа материальной культуры. Эти построения перекликаются с крайностями опыта социологического изучения искусства советскими марксистами в 1920-х гг. (ср. Фриче, 1929).

Нужно заметить, что увлечение «социологией керамики», популярной среди западных археологов в 1970–1980-х гг. и в значительной мере основанной на теории информационного обмена М. Вобста (Wobst, 1977), позднее сменилось разочарованием, потому что на вопросы о содержании орнаментальных стилей «не получены удовлетворительные ответы» (Rice, 1996, p. 150). Скепсис по отношению к якобы осознанной этнической символической археологии не будет преодолен, пока исследователи, они же конструкторы ее смысловых значений, будут игнорировать тот факт, что современные создатели изображений у разных народов и этнических групп, как правило, сами объясняют их содержание с помощью чисто зрительных, зачастую случайных образных аналогий, а не смысловых или сигнальных ассоциаций (обзор см.: Иванов, 1963, гл. 1). Аналогичным образом объясняют такие общепризнанные символические мотивы, как «ромбы с крючками», «всадницы», свастика и др., также карелы, вепсы, саамы (Косменко А. П., 2002, гл. 1).

Эта ситуация понятна. Сознательное отношение к традиции не является необходимым и обязательным условием ее воспроизводства. Скорее наоборот, люди бессознательно принимают ее как

данность, например язык, семейные традиции, ритуалы, предрасудки. Ее воспроизводят до тех пор, пока она не вступает в непреодолимое противоречие с инновациями или не прерывается катастрофическими событиями. Поэтому инерция многих традиций, особенно в сфере быта и связанного с ним пласта духовной культуры, обычно гораздо сильнее, чем изменчивое этническое самосознание. Отчасти именно здесь следует искать причины несовпадений ареалов культур и этносов.

Это относится и к навыкам воспроизводства материальной культуры, т.е. цепочки «запечатленных действий, которые относятся к иному роду сознания, чем те, которые выражают семантика и синтаксис языка» (Graves, 1994, p. 167). Оптимистическое заявление о том, что «тексты материальной культуры проще расшифровать, чем письменные документы, язык которых нам неизвестен» (Hodder, 1991, p. 126), расходится с реальностью. Исследователи обычно в неявной форме приписывают определенные цели древним людям, исходя из своих представлений о содержании символов и декоративных стилей. Современные народные мастерицы/мастера не имеют знаний о символическом содержании древних узоров и делают собственные варианты по традиции, на основе зрительного восприятия образцов и технических приемов, которым они обучены, а не с осознанными смысловыми или информационными целями. Далее заметим, что пространственные изменения декора на посуде рассматриваемых ниже культур Карелии и динамика его изменения во времени свидетельствуют не только о деградации конкретных стилей, но и об общей деградации орнаментики на лепной посуде (Косменко, 1993). Эти явления трудно объяснить с позиций информационно-символической концепции стиля. Речь, скорее, может идти о снижении ценности глиняной посуды, которая подчеркивалась украшением традиционными узорами. Это «этнографическая» черта, несмотря на присутствие древних символов. Выявление исторического содержания таких символов является проблемой, которая решается зарубежными и российскими археологами с разной степенью убедительности. Она зависит от того, насколько полно удастся проследить

пространственно-временную динамику изменения содержания символов в различных контекстах (например ср. Амброз, 1965; Рыбаков Б. А., 1979; в этноархеологии: Hodder, 1982, 1991, chap. 6).

В целом археологи более или менее успешно выделяют исторически сложившиеся комплексы «этнографических» признаков, т.е. отдельные культурные типы и их комбинации в обширных ареалах, но испытывают серьезные затруднения с выявлением следов этнических общностей, особенно демонстративных проявлений этничности в материальной культуре. Причины этого не столько кроются в слабой разработке довольно скудных археологических контекстов, сколько носят принципиальный характер: более адекватные реконструкции этнической истории можно сделать только посредством синтеза данных разных дисциплин, как и этническое самосознание синтезировало все объективные предпосылки этнических процессов. Поэтому «соотношение между стилями материальной культуры и выражением этничности может непрерывно изменяться в соответствии с местом и временем», а «общности в материальной культуре...не обязательно совпадают с территорией и границами осознающих себя древних этнических групп» (Jones, 1997, p. 122). Это подтверждают исследования современной и позднесредневековой материальной культуры в Карелии. Ареалы народного искусства карел, вепсов, саамов, русских не совпадают с этническими границами (Косменко А. П., 2002, гл. 5), такой же вывод сделан и о материальной культуре разноэтнического населения юга Карелии в XV–XVII вв., которая в общем отражает социальные и производственные, а не этнические различия (см. ст. Т. П. Амелиной в наст. сб.). Все это серьезно осложняет задачи археологов по выявлению следов этнических общностей.

Связанную с примордиальным подходом концепцию «этнических» признаков, т.е. прямое шаблонное отождествление отдельных культурных типов или их деталей с этносом и его границами, нельзя признать теоретически корректной. Информация об этих признаках прямо не относится к этносам, а дает представление о регулярностях, отражающих традиции в сфере материальной культуры. Конечно, «этнографические» черты культуры в определенных исторических ситуациях могут внешне совпадать с этническими

разграничениями и даже использоваться в качестве демонстративных знаков этнической специфики, особенно когда речь идет о границах культурных общностей разного происхождения. Но в большинстве случаев они могут отчетливо проявиться не столько в форме территориальных вариантов материальной культуры, т.е. как расплывчатые комбинации этнографических черт, сколько в негативном плане, как намеренное отторжение в ходе межэтнического взаимодействия инородных элементов культуры либо технологических и иных новшеств, противоречащих сложившимся предпочтениям и традициям. Иными словами, их вероятнее искать путем тщательного анализа ситуаций, связанных с взаимной адаптацией разнородных культурных общностей. Что касается мелких, особенно родственных этнических групп, то надежной техникой их выделения археологи пока не располагают.

Также очевидно, что в ходе синтеза различных данных на первый план выходит широкая и сложная проблема приложения современных гуманитарных теорий или частных концепций какой-либо науки к данным других дисциплин. Об этом следует сказать подробнее, потому что ниже мы неоднократно встретимся с конкретными случаями такого рода, особенно в археологии, которая не имеет собственных надежных средств опознания этнических общностей. Применение общих теорий и гипотез для исследования этнической истории имеет основания, поскольку этносоциальные процессы охватывали различные сферы общества. Изменения в отдельных сферах могли отражаться и в других, что допускает адаптацию частных концепций. Проблема в том, как проявлялись общие и частные регулярности в различных сферах этноса и при каких условиях можно утверждать, что они внутренне присущи конкретным материалам. Широко практикуемые проекции общих регулярностей в конкретные сферы часто некорректны. Из корпуса данных выбирается некоторое количество, внешне как будто подтверждающее регулярность, но остается неясным, присуща ли она этой сфере, особенно если речь идет о гипотезе. М. Скрайвен (Scriven, 1959) отмечал, что приложения исторических «законов» к конкретным данным обычно представляют собой «триуизмы», которые являются, по сути дела, оправданием тех или иных общих

схем. Между тем сами законы являются лишь средством или достаточно условным приемом представления данных, создавая иллюзию их объяснения в исторических дисциплинах (Гарден, 1983, с. 249). Прямые, шаблонные проекции реальных, тем более гипотетических регулярностей вследствие их нивелирующего эффекта приводят не только к существенным упрощениям объяснений и искажениям, но и к ограничению познавательных возможностей конкретной дисциплины. В археологии адаптация таких концепций вполне обычна, а ее последствия неоднозначны.

В российской археологии этногенетическая тематика стала интенсивно разрабатываться после официального остракизма в 1948 г. школы последователей Н. Я. Марра, которые придерживались эволюционно-стадиальной концепции развития культуры. Последующие работы тоже декларировались как марксистские, но внутренние источники, движущие силы и диалектика этносоциальных процессов не попали в фокус исследований. Изучение древностей лесной зоны Европейской России фактически приобрело контуры и методику культурно-исторического подхода, по определению Б. Триггера (Trigger, 1989), сходные с установками его основателя, германского археолога Г. Коссинны. Такой подход на практике сводился преимущественно к систематизации древностей путем выделения территориально-культурных образований различных рангов под негласным знаком общих эмпирико-позитивистских принципов в русле традиций, заложенных главным образом В. А. Городцовым и А. А. Спицыным. Это необходимая и полезная работа, результаты которой постоянно уточняются. Познавательные возможности культурно-исторического подхода для археологии лесной зоны вовсе не исчерпаны. Особенно это касается содержательного анализа культурных типов различных рангов – они выделялись по разным критериям, и разное их понимание отразилось в многочисленных дефинициях (сводку см.: Клейн, 1991).

Археологические культуры лесной зоны Европейской России представлялись как довольно однородные, хотя и развивающиеся формирования. Многие российские археологи, подобно Г. Коссинне, видели в них точные отпечатки этносов и писали компилятивные «Древние истории» регионов, хотя другие подходили к интер-

претации культур гораздо осторожнее (см. дискуссию в СА, 1970, № 2; Клейн, 1978 и др.). Российские этнографы обычно скептически относились к прямой этнической идентификации археологических культур (например: Арутюнов, Хазанов, 1979; Бромлей, 1983, с. 120–122). Впрочем, археологи – сторонники концепции «этнических» признаков, как правило, подробно не анализировали состав, вариативность и изменчивость даже тех категорий материальной культуры, которые они считали этническими индикаторами, в частности керамики, а ограничивались словесным описанием материалов и изложением культурно- и этноисторических гипотез. Это соответствовало господствующей установке, требующей от советской археологии исторических реконструкций (Bulkin et al., 1982). Техника анализа собственных источников не разрабатывалась настолько детально, чтобы, например, надежно опознавать переселения и отличать их от других видов инноваций, а это много значит для реконструкции ключевых событий истории финно-угров. Возник заметный разрыв между «словесными портретами» материалов и реконструкциями, которые скорее были проекциями исторических, этнографических и умозрительных моделей, чем итогом анализа собственных данных. Такое расхождение фактически подрывало археологию как научную дисциплину и было отмечено в критических (Формозов, 1977б) и обзорных (Bulkin et al., 1982) статьях конца советского периода.

Эта коллизия остается актуальной не только для российской археологии. Использование разных общегуманитарных теорий легло в основу исследовательской методики современного постпроцессуального направления в европейской археологии, которое во многом сложилось на волне критики «новой», иначе «процессуальной», археологии. Его лидеры пропагандируют ряд заимствованных теоретических «символов в действии» для объяснения археологических данных (см.: Hodder, 1991; Shanks and Tilley, 1987, 1994; дискуссии в FA, VIII, 1991; XV, 1998 и др.). С одной стороны, антипозитивистские принципы этого идеалистического течения справедливо акцентируют историчность научного знания, активность сознания творцов древней материальной культуры, а также тесную связь с современностью сознания ее исследователей.

Справедлива и критика в адрес «новой» археологии, которая абсолютизировала адаптивный характер поведения людей и их материальной культуры, недооценивая явления, обусловленные устойчивыми традициями в духовной и социальной сферах. С другой стороны, ставка постпроцессуалистов на анализ археологических контекстов, недоверие к сравнительному анализу и регулярностям в материальной культуре, отрицание специальной теории ее познания (middle-range theory), приверженность к заимствованным объяснительным схемам, прямо прилагаемым к археологическим данным, в перспективе чреват утратой статуса научной дисциплины археологией, которая становится источником данных для иллюстрации реальных и мнимых регулярностей духовной и социальной жизни. Анализ материальной культуры отходит на второй план.

Можно констатировать разнообразие и неоднозначные воздействия современных факторов, влияющих на формирование этноисторического знания. Под этим углом зрения, даже в рамках явно тенденциозных версий и концепций, можно найти не только искажения, но и неплохо обоснованные частные наблюдения и объяснения. Среди многообразия версий просматриваются несколько конкретных концепций и контуры общих теорий происхождения финно-угров. По каким критериям следует их оценивать? Основным и решающим критерием оценки можно признать познавательный потенциал концепций, который отчасти определяется по степени их практической реализации в процедурах и результатах анализа данных. Эффективным инструментом является критический анализ дисциплинарных гипотез и сравнение построений в разных дисциплинах. Выявляя причины и источники несовпадений взглядов исследователей, можно получить представление об отношении различных версий и концепций к имеющимся данным и обосновать выбор наиболее перспективных решений. В конечном счете не особенности, тем более крайности современного мышления, а испытанные на практике эвристические возможности теорий и подходов со временем определяют их оценку и перспективы дальнейшей разработки.

Предпочитая традиционалистский подход, я должен сказать, что вряд ли какая-либо современная теория этноса может претен-

довать на статус метатеории, объясняющей все его многообразные проявления, и стать ключом к разработке процедур опознания древних этнических образований по косвенным данным не только в силу многогранности феномена этноса и сложности вопроса о соотношении этнических общностей и материальной культуры, но и по причине разнообразия исторических ситуаций и археологических контекстов. Древние культурные ареалы в лесной зоне содержат археологические «осадки» различных процессов, которые мы попытаемся проанализировать ниже, используя прагматическое отношение к сложившимся теориям – оно может показаться эклектическим, но, по сути дела, это не так. Важны не столько сами теории, сколько позитивные и негативные результаты их практического применения к разнообразным материалам; предпочтительнее оценить, какая из них и в каких аспектах и случаях работает. Некоторые теории лучше прочих анализируют определенные факты, тогда как другие ситуации адекватнее объясняются с помощью иных теорий и подходов.

Ниже речь пойдет не о реконструкции конкретных древних финноязычных этносов, объединенных сознанием общности и различными формами социальной организации, а о проблемах этногенеза – происхождении и изменениях расового облика, языка и материальной культуры древнего населения, по сути дела, о формировании объективных условий, предпосылок и следствий этнических процессов. Акцент будет сделан на переломных моментах в истории материальной культуры и возможности их сопоставления с синхронными явлениями в языковой и расовой сферах, однако сначала нужно рассмотреть конкретные концепции и далее наметить опорные точки и общие контуры методики исследования.

### ***Основные концепции генезиса западных финноязычных народов***

В современном отечественном и зарубежном финноугроведении в многочисленных работах лингвистов, археологов, палеоисториков, отчасти антропологов, традиционно доминирует примордиальный подход, пожалуй, исключая Скандинавские страны, где ощущается общее влияние инструментального подхода Ф. Барта и его последователей, включая методику разграничения саамов и

скандинавов железного века – Средневековья (Odner, 1985; Olsen, 1985; Winkler, 1996 и др.; обзор концепций археологов см.: Storli, 1986). Больше того, есть тенденция к крайним решениям, когда эволюционисты пытаются выявить истоки финно-угорских народов даже с эпох верхнего палеолита – мезолита. Наиболее слабыми звеньями подобных построений являются декларативные интерпретации или умолчания, касающиеся трудно объяснимых с эволюционных позиций фактов расовой неоднородности финно-угорских народов, резких изменений материальной культуры в их реконструируемом древнем ареале, а также структурных различий финно-угорских языков. Нужда в ситуационном анализе здесь совершенно очевидна. Его сдерживают сложившиеся исследовательские традиции и поверхностная разработка археологических и иных контекстов, пригодных для реализации методики такого анализа.

В языкознании и археологии долго преобладала восточная, иначе «уральская», миграционная теория происхождения западных финноязычных народов. Она основана на эволюционной модели дерева уральских языков, которая сложилась в финно-угорской лингвистике во второй половине XIX в. в результате их сравнительного изучения. Определялся относительный возраст различных элементов лексики и фонетики, и получил развитие метод «лингвистической палеонтологии», в том числе биогеографии – выявления первоначальных ареалов некоторых древнейших слов, особенно названий животных и растений в уральских языках. В результате финноязычные народы стали рассматриваться как потомки переселенцев из области своей прародины, которая находилась на востоке – по различным версиям от Алтая до среднего Поволжья, где первоначально формировались их языки. Сторонниками восточной теории были и остаются многие лингвисты (см.: ОФУЯЗ, 1974; Казанцев, 1979; Хайду, 1985; Janhunen, 2001). На этой лингвистической модели базируются версии многих археологов. Идею миграции с востока западных финнов в начале I тыс. н.э. поддерживали видные финские археологи И.Р. Аспелин (Aspelin, 1885), А. Хакман (Hackman, 1905), А. М. Талльгрэн (Tallgren, 1937), Э. Кивикоски (Kivikoski, 1961). Общую историческую картину они

представляли, в согласии с климатической схемой М. Блитта – Р. Сернандера, как движение финнов на запад к Балтийскому морю в условиях резкого ухудшения климата по практически обезлюдившей лесной зоне, где кочевали редкие и малочисленные группы саамов (см.: Tallgren, 1937).

Основные версии российских археологов о происхождении европейских финнов обычно не выходили за рамки восточной теории и связывали их переселение на запад с теми или иными культурами каменного века – энеолита (например: Брюсов, 1952; Чернецов, 1963; Третьяков, 1966; Халиков, 1969; Бадер, 1972 и др.). Впрочем, возникали неясности и противоречия, когда некоторые авторы конструировали миграции с востока и одновременно говорили о финно-угорской принадлежности неолитических культур с ямочно-гребенчатой керамикой, генезис которых не имеет отношения к восточным регионам (Брюсов, 1952; Третьяков, 1966). Современные версии восточной гипотезы учитывают новые данные о генезисе древних культур лесной зоны (Косменко, 1993; Напольских, 1997б; Кузьминых, 2001а; Манюхин, 2002), но и в них ключевой вопрос о смене языка «дофинно-угорским» населением в Поволжье и северо-западных регионах является камнем преткновения – мы подробнее коснемся его в дальнейшем.

Восточная миграционная теория со временем не нашла полного подтверждения. Представление о депопуляции лесной зоны из-за ухудшения климата в железном веке оказалось неверным. Древности этого времени были выявлены во второй половине XX в. во всех областях лесной зоны между Уралом и Балтикой. Основным недостатком большинства версий в разных дисциплинах состоит в том, что вопрос об отношениях переселенцев финно-угров с местным населением практически не разрабатывался, кроме антропологов, которые пытались объяснить расовую неоднородность финноязычных народов. Из эволюционной древовидной модели уральских языков логично вытекает идея смены языка в западных регионах финно-угорского ареала, поэтому не предпринимались активные поиски следов субстрата в современных языках. Правда, обсуждался вопрос об оригинальном «нефинно-угорском» слое лексики саамов, но лингвисты высказали самые разные

предположения об его происхождении и принадлежности (см.: Хайду, 1985), которые трудно сопоставить с данными других дисциплин.

Сторонниками восточной гипотезы не был твердо установлен сам факт массового переселения финно-угров на запад. Нехватка материалов и несовершенство техники их сравнительного анализа на пути предполагаемой миграции всегда были главными препятствиями для археологического обоснования разных версий данной концепции. Выказывались сомнения и в точности методов «лингвистической палеонтологии», локализирующих восточную прародину уральцев (Э. Мольнар, Д. Ласло, А. Йоки, А. Парпола и др.). Больше того, расовая пестрота современных финно-угорских популяций противоречит модели дерева уральских языков и представлениям лингвистов и археологов о восточной прародине финнов. У западных финноязычных народов преобладает европеоидный расовый компонент, заставляющий признать как минимум участие местного населения в их формировании.

В древовидной модели уральских языков есть внутренние противоречия. Так, феномен «финского холодильника» – наличие архаичных элементов в прибалтийско-финских и саамских языках – четко не вписывается в восточную теорию их происхождения. М. Корхонен (Korhonen, 1996) попытался объяснить сохранение этих элементов на крайнем западе ареала посредством теории представителя итальянской «неолингвистики» М. Бартоли. В основе теории находится постулат, согласно которому архаичные формы в периферийных областях языкового ареала сохраняются чаще и полнее, чем во внутренних, однако неясно, насколько универсальна эта теория и к каким частям периферии ареалов она применима. М. Корхонен верно заметил, что консервация архаичных форм на периферии вряд ли является общим правилом для всех языков и пришел к выводу о необходимости более широкого анализа, потому что ограничение только финно-угорскими языками может привести к неверным выводам. В результате объяснение М. Корхонена не описывает исторический генезис «финского холодильника» в сравнении с другими периферийными уральскими языками.

Впрочем, вопрос об архаичности некоторых элементов западных финно-угорских языков однозначно не решен и сводится к определению относительной древности системы гласных звуков в различных языках уральской семьи. По мнению В. Штейница (Steinitz, 1944), самую архаичную систему гласных сохранили восточные – горномарийский и хантыйский языки. Выводы В. Штейница оспорили Э. Итконен (Itkonen, 1953–1954) и другие лингвисты, которые считают, опираясь на древние индоиранские и германские заимствования, что наиболее архаичны системы гласных в западных – финском и саамском – языках. П. Хайду (1985) полагает, что отправные позиции обеих сторон в этой дискуссии произвольны, поскольку сомнительны критерии определения относительного возраста при реконструкции вокализма. Отсюда произвольность выбора эталонных языков. Тем не менее П. Хайду склонился к теории В. Штейница, которая базируется на изучении далеких друг от друга языков и является более универсальным инструментом описания финно-угорского вокализма, чем метод Э. Итконена. Эта дискуссия показывает, что относительная хронология финно-угорских языков на основе анализа их фонетики нуждается в дополнительном обосновании и не обязательно с позиций древовидной эволюционной модели.

Между тем восточная концепция не беспочвенна. Лингвисты давно описали черты сходства лексики финно-угорских языков, которые вряд ли возможно объяснить как пережиток общечеловеческого языкового наследия. Еще в 1930-х гг. были обобщены сведения об элементах древней культуры восточного происхождения в Фенноскандии (Tallgren, 1937), а во второй половине XX в. их количество и состав значительно пополнились в результате работ российских, финских и скандинавских археологов. Заметный, но не преобладающий восточный компонент выявлен среди отцовских генов современных саамов и балтийских финнов (Zerjal et al., 1997; Willems et al., 1998), в распределении групп крови у финнов (Nevanlinna, 1991) и в дерматоглифике западных этносов – мало у балтийских финнов и гораздо больше у саамов (Хить, Долинова, 2000). Можно заключить, что в расовом облике западных финноязычных популяций и в древней материальной культуре бесспорно

имеется компонент восточного происхождения, но абстрактная модель языкового дерева и общей восточной прародины финнов серьезно противоречит данным антропологии и археологии.

Довольно расплывчатая «западная» автохтонная теория генезиса финноязычных народов объединяет лингвистов – сторонников прародины финнов в ареале от Урала до Балтики (Аристэ, 1956; Itkonen, 1960; Joki, 1973 и др.) и авторов новых, нетрадиционных моделей формирования уральских языков в образном виде «мангрового дерева», «куста», «зубцов гребня» или «цепи прародин» (Sammalahti, 1989; Makkay, 1990, 1997; Künnap, 1997; Пустай, 1994; Wiik, 1997; Pusztay, 1997, 1998; Salminen, 1998). Общей основой этих схем является «контактная» теория формирования языков с тенденцией рассматривать их как изменяющиеся во времени автохтонные образования. В индоевропеистике эту теорию активно развивал Н. С. Трубецкой, в финноугроведении ее поддерживал Д. В. Бубрих. Б. А. Серебренников (1967, 1977) тоже склонялся к западной концепции, констатируя структурные различия пермских и более западных финских языков, которые он приводил как иллюстрацию «языковых волн» И. Шмидта – раннего варианта контактной теории. С этими схемами перекликаются взгляды тех российских антропологов, согласно которым в каменном веке между Уралом и Балтикой сложилась североевропейская реликтовая, иначе лапоноидная или «уральская», раса – основа расового облика европейских финно-угров. Представление о ней базируется на синтезе архаичных черт современных популяций; а также на довольно скудных антропологических данных о древнем населении лесной зоны Северной Европы (Бунак, 1956; 1974; Гохман, 1986; Давыдова, 1979, 1997; Зубов, 1982; Kosintsev, 1991; Zolotareva, 1991, Аксянова, 2003 и др.). Эволюционистские взгляды археологов, сторонников западной теории, вторичны. В соответствии с идеей эволюции местных языков они обычно декларируют этноязыковую преемственность при резких изменениях материальной культуры.

В рамках западной теории различаются две основные концепции генезиса западных финноязычных народов: балтийская и волго-окская. С 1960-х гг. среди европейских, особенно финских, исследователей усилилось влияние гипотезы балтийского, в

конечном счете западноевропейского происхождения этих народов. Ее основы в начале XX в. заложил Г. Коссинна (Kossinna, 1909, 1928), который большое внимание уделил расовому облику древнего населения Западной Европы. По его версии, протофинны – это потомки населения приледниковой зоны эпохи верхнего палеолита, которое позднее продвинулось в освободившуюся от ледника Скандинавию и восточные регионы и там образовало «арктическую» культуру с петроглифами, костяными и сланцевыми орудиями, ямочно-гребенчатой, позднее «рогожной» керамикой. К концу неолита были колонизованы Финляндия, бассейны Ладоги, Онежского озера и Поволжье. Расовую неоднородность финно-угров, которые в ходе расселения на восток достигли Восточной Сибири и даже северной Японии, он объяснял смешением с местным населением (Kossinna, 1909). В Западной Европе примерно с 6000 лет до н.э. широколицые протофинны смешались с длинноголовыми индоевропейскими, «нордическими» популяциями, которые формировались в ареале культуры раковинных куч на юго-западном побережье Балтики. В контактной зоне на юге Балтики и Скандинавии сначала сложились финно-индогерманцы, а около 2000 лет до н.э., после ряда исторических перипетий, на смешанной расовой основе здесь сформировались германцы. Общей прародиной индоевропейских и финно-угорских языков он считал территорию Франции, а следы древнего финно-индогерманского языка усматривал в фонетике немецкого языка (Kossinna, 1928).

Современные версии балтийской концепции развивают основные идеи Г. Коссинны, но не комментируют идею миграции протофиннов в Азию. Они ориентированы на выявление европейских корней балтийских финнов и саамов и базируются на данных популяционной генетики, антропологии и лингвистики по современным народам, которые проецируются с различными поправками в каменный век. Генетические исследования показали, что у скандинавов, собственно финнов, в меньшей степени саамов, преобладают общие для европейских популяций частоты материнских генов (Guglielmino et al., 1990), а краниометрические индексы финнов гораздо ближе кроманьонцам верхнего палеолита, чем другим евро-

пейским народам (Niskanen, 1997, 1998). Продолжено изучение заимствованной индоевропейской лексики в уральских языках (Koi-vulehto, 1991, 2001) и сделаны новые попытки выделить следы влияния западных субстратных, «уральских» языков на германские языки в сфере фонетики, но не лексики. Данную ситуацию объясняют так, что северные индоевропейские пионеры-земледельцы, в силу своего более высокого культурного статуса, не заимствовали слова из финно-угорских языков, но восприняли некоторые их фонетические особенности (Künnap, 1997). Германская ветвь языков в целом характеризуется как результат внедрения протоиндоевропейцев в ареал протоуральцев со времени перехода от мезолита к неолиту (Strade, 1995, 1998), а протогерманский язык – как диалект индоевропейского протоязыка с уральским/финно-угорским акцентом в произношении (Wiik, 1997).

Привлекают и археологические материалы, объясняемые с позиций гипотезы балтийского происхождения прибалтийских финнов и саамов. Конечная ретроспектива проекций современного расового и языкового состояния этих этносов в древность неизбежно приводит археологов к предположению о протоурало- или финноязычности носителей культур финального палеолита – мезолита в бассейне Балтики и Фенноскандии (Laszlo, 1963; Панкрушев, 1978,1; Шумкин, 1990; Dolukhanov, 1998; Nuñez, 1987, 1998; Strade, 1995, 1998 и др.). Создатели более поздних культурных типов автоматически признаются финноязычными. Утверждается «непрерывность» заселения этих регионов, ассоциируемая с этноязыковой и расовой преемственностью – отсюда заметное невнимание к содержанию серии последующих изменений в материальной культуре лесной зоны, кроме отношений с индоевропейскими культурами, которые привнесли на Север Европы земледелие и животноводство.

Общая этноисторическая картина у современных сторонников балтийской концепции выглядит следующим образом (например: Julku, 1997). В верхнем палеолите уральцы, или протофинно-угры, обитали в приледниковой зоне, ограниченной реками Рейном на западе, Дунаем и северным Причерноморьем на юге, Печорой на востоке, а после окончания ледникового периода они заняли

практически всю Северную Европу. Примерно с 6000 лет до н.э. в Европе начало распространяться земледелие и животноводство из Малой Азии, и в ходе этого процесса индоевропейские языки вследствие культурного превосходства и многочисленности их носителей приобрели статус *lingua franca* (межэтнического языка). Продвигаясь на север, индоевропейские земледельцы ассимилировали охотников финно-угров, от которых остались субстратные элементы в германских и балто-славянских языках. Лишь в лесной зоне, на северной окраине прежнего ареала, финно-угры сохранили свои языки, но под сильным индоевропейским влиянием.

Здесь нет нужды подробно комментировать эту картину, которая близка высказываниям Г. Коссинны. Последовательное продвижение индоевропейцев на север вполне очевидно, но урало/финноязычность создателей западноевропейских древностей каменного века обоснована ничуть не прочнее восточной теории их генезиса. Согласно другой точке зрения прибалтийско-финским и саамским языкам предшествовал не уралоязычный, но точно не определенный языковой субстрат, возможно эпохи мезолита, который оставил ранний слой в их фонетике и лексике, а также в топонимии (Leskinen, 1989).

Не вполне ясными остаются механизмы и результаты адаптации древних индоевропейцев к природной и культурной среде Северной Европы, в частности, влияние на них форм приспособления местных популяций. При достаточно развитом животноводстве нет прямых данных о земледелии в поволжских культурах индоевропейцев раннего бронзового века с шнуровой керамикой и боевыми топорами (Крайнов, Лозе, 1987); нет их в культуре шнуровой керамики и гибридной культуре киукайнен в Финляндии (Matiskaïnen, 1998). Применение к раннему бронзовому веку модели экологической адаптации средневековых финнов, расселившихся на север, в область обитания саамов (см.: Julku, 1997), не вполне адекватно, так как известны более или менее синхронные процессы адаптации иноязычных германцев и славян на Севере Европы. Показательно, что земледелие у северных финнов находится на последнем месте по значимости в списке источников пищевых ресурсов – тем более не следует преувеличивать роль менее развитых

его форм в древних индоевропейских культурах южной части лесной зоны.

Балтийская гипотеза основана по крайней мере на антропологических фактах и отражает укрепившееся недоверие к модели дерева уральских языков и восточной прародине западных финнов. В ряде работ есть новые данные, ценные наблюдения и перспективные предположения, касающиеся взаимоотношений между этносами, их языками и культурами. Данная концепция во многом следует по пути эволюционной теории этногенеза, господствовавшей в 1930–1940-х гг. в советской науке, с той разницей, что последователи Н. Я. Марра декларативно объясняли крупные этноисторические изменения с позиций упрощенного марксизма как прямое следствие радикальных социально-экономических перемен, движущими силами которых были внутренние противоречия в обществе. Впрочем, они справедливо подчеркивали факты взаимной адаптации разнородных, в частности, финноязычных и славяно-русского этносов в России, как это доказывал С. П. Толстов (1930) в дискуссии с Д. К. Зелениным (1929). Сторонники балтийской гипотезы концентрируют внимание на контактах и взаимной адаптации этносов.

Эта концепция обладает заметными недостатками, прежде всего обилием малообоснованных предположений, не воплощенных в развитую технику анализа и синтеза данных. Идея состоит в том, чтобы обозреть Европу с высоты орлиного полета, когда детали становятся нечеткими, а общие процессы – различимыми (Nuñez, 1998). Однако гиперавтохтонные этногенетические суждения остаются не более чем предположениями, точнее, проекциями общих моделей, ограниченных концептуальными и региональными рамками. Балтийская концепция столь же умозрительна, как и восточная теория происхождения финноязычных народов. С позиций западноевропейского происхождения уральцев/финно-угров неясными остаются общие причины сходства уральских языков. В историческом плане неубедительно возводить их только к предполагаемой общей европейской основе. Столь же неясно, насколько точно заимствованные германцами фонетические элементы, без соответствующей лексики, позволяют опознавать субстратные,

доиндоевропейские языки на западе Европы как уральские. Во всяком случае, некоторые лингвисты подвергли обоснованному сомнению наличие прагерманских заимствований в западных финно-угорских языках (см.: Напольских, 2004). В этой модели непонятны исторические условия появления в западных финских языках древнейших лексических заимствований из восточных индоевропейских языков (см.: Redei, 1983), и традиционно слабым звеном палеолингвистических реконструкций является их абсолютная хронология.

Неполно реконструируется расогенез носителей этих языков. Расовая пестрота уральцев общеизвестна, но историческая динамика расогенетических изменений у западных финноязычных популяций тоже неясна. Современные балтийские финны и саамы находятся в очень широких рамках материнского генетического наследия финно-угорских и индоевропейских народов (Willems et al., 1998). Антропологические данные о людях каменного века в восточной части бассейна Балтики небогаты и изобилуют пробелами, а для ключевых периодов бронзового – железного веков практически отсутствуют (см.: Kosintsev, 1991; Niskanen, 1998). Отсюда понятна зыбкость предположений о времени и месте возникновения ряда элементов физического и генетического облика современных финноязычных народов, которые важны для реконструкции исторической динамики их расовых контактов с индоевропейскими популяциями в особенности друг с другом.

Вопросы вызывает и методика этногенетических реконструкций, недостатки которой наиболее заметны в версиях последовательных эволюционистов. Ей в полной мере свойствен комплекс проблем, возникающих при использовании метода «пережитков». Метод основан Фукидидом (I, 1–20) и применяется в разного рода исторических разысканиях почти 2,5 тыс. лет, но он корректен лишь при наличии достаточной суммы данных о прошлом современных явлений и соблюдении ряда ограничительных условий и оговорок при сравнении современных и древних материалов. При нехватке сведений об исторической глубине расовых, особенно языковых, признаков этноса прямые проекции современных черт в глубокую древность неизбежно приводят к умозрительным

автохтонным схемам этногенеза «от Адама», имеющим неопределенное отношение к исторической реальности. Таковы эволюционные построения ряда лингвистов, археологов и историков, разгоревшихся ареалы предков носителей современных языков с эпох палеолита – мезолита (см.: IEM, 1997, RPNE, 1998). Отдельные расовые и культурные черты они фактически принимают за этнические индикаторы. Время древних языковых состояний лингвисты часто определяют согласно представлениям археологов о принадлежности и хронологии культурных типов. В свою очередь, объяснения изменений в культуре, зачастую минуя ее анализ, сводятся многими археологами к простой проекции общих моделей социальных и языковых процессов – притоков родственного населения, этнической диффузии и ныне популярных моделей смены родного языка на язык межэтнического общения или двуязычия с господствующей иноязычной этносоциальной прослойкой. Основным недостатком балтийской концепции в археологии является, пожалуй, отсутствие развитой техники анализа процессов смены культурных типов. Взаимная адаптация инородных моделей рождает порочный круг доводов.

В результате основанием балтийской гипотезы можно признать негативный, но реальный и важный факт отсутствия доминирующего комплекса черт восточного происхождения и у современных западных финноязычных народов, и на протяжении всего периода древней истории в Прибалтике и Фенноскандии. Однако западноевропейское происхождение языков балтийских финнов и саамов относится к области предположений, а историческая динамика их расового сложения недостаточно ясна, несмотря на европейские черты современных популяций. В конечном счете остается неясным, где, когда и как сформировалось сходство финских языков и является ли оно реликтом их бывшего общего состояния.

Другой разработанный вариант западной теории базируется на идее первоначального формирования протофинской общности в центре Русской равнины. В 1950-е гг. в Эстонии и Финляндии сложилась «волго-окская» миграционная гипотеза, которая восходит к взглядам финского археолога Ю. Айлио (Ailio, 1922) и основана на представлении лингвистов о близком родстве волжских и западных

финских языков. Появление носителей протофинского языка в Прибалтике и Фенноскандии ее сторонники связывают с распространением в неолите культуры с ямочно-гребенчатой керамикой из Волго-Окского междуречья, а последующие изменения материальной культуры обычно объясняют как результат ее эволюции (Аристэ, 1956; Моора, 1956; Moora, 1958; Яните, 1956; Meinander, 1973; Мейнандер, 1982; Leskinen, 1989; Sammalahiti, 1989; Carpelan, 2000, 2001a; Carpelan and Parpola, 2001). Эта концепция прочнее адаптирована к данным лингвистики и теоретически устраняет серьезный пробел балтийской концепции, четко не объясняющей близкое родство западных и волжских финских языков. Однако эволюционистская логика западной теории побуждает сторонников волго-окской концепции искать истоки финской общности в предшествующих культурах, поскольку эти языки складывались на какой-то более древней основе. Поэтому допускается урало/финноязычность круга мезолитических постсвидерских культур балтийского происхождения (Carpelan, 2000, 2001a). В этой версии волго-окская гипотеза смыкается с балтийской и фактически поворачивает в ее русло.

В работах многих российских археологов второй половины XX в. содержатся высказывания о финно-угорской принадлежности поволжских и северных древностей эпохи неолита. В гиперавтохтонной версии даже заявлено, что уральское единство должно уходить в глубь палеолита на десятки тысяч лет, а «реальная социальная общность» прафиннов могла существовать задолго до освоения людьми приледниковой зоны (Сидоров, 1987, 2000). Нет нужды комментировать эти высказывания, представляющие собой упрощенную проекцию эволюционной модели этногенеза в эпоху палеолита. Авторы обобщающих работ о неолите лесной зоны Европейской России считали, что древности с ямочно-гребенчатой посудой принадлежали финно-уграм (Брюсов, 1952) или являлись одним из компонентов при сложении финских народов (Гурина, 1970, 1973), но генезис культур данного круга они детально не анализировали. Эти мнения не противоречат волго-окской гипотезе и в целом западной теории. В компилятивных работах об этногенезе балтийских финнов вслед за эстонскими археологами утверждается,

что древности эпохи неолита с гребенчато-ямочной посудой принадлежали «первым финно-уграм», но сложение волжско-балтийско-финской общности произошло лишь в процессе формирования культуры бронзового века с сетчатой («текстильной») керамикой (Седов, 1990, 1997). Вслед за А. А. Спицыным (1903) многие российские археологи придерживаются мнения о финской принадлежности поволжской сетчатой керамики и более поздних, городецких и дьяковских, древностей железного века. Недавние исследования подтвердили наличие связанного с ямочно-гребенчатой керамикой пережиточного компонента в культуре сетчатой керамики бронзового века верхнего Поволжья (Воронин, 1998) и северо-западных областей России (Косменко, 1993; Маннохин, 2002). Однако возникает логичный, но безответный вопрос: если речь идет о финно-уграх, то какое отношение имеют эти культурные общности западного происхождения к этногенезу восточных, пермских финнов, тем более угров?

Изъяны волго-окской гипотезы достаточно очевидны. Прежде всего это нечеткая постановка проблемы опознания древнейших финно-угров, свойственная западной концепции с ее поисками финноязычной общности в глубокой древности по местной эволюционной схеме. Конечно, вопрос о финнах эпох палеолита – мезолита в центральной России вряд ли может быть темой для предметного обсуждения, но само представление о «первых» финно-уграх отличается крайней неопределенностью. Истоки отдельных элементов их расового облика, языков и культуры действительно могут уходить в глубокую древность, но не обязательно должны иметь единую основу. Поэтому необходимо обозначать критерии выделения финно-угорской общности в археологических и иных материалах. Под этим углом зрения можно признать точной лишь постановку вопроса о времени сложения и ареале финно-угорской или хотя бы финской языковой общности, заранее не ограничивая ее жесткими спекулятивными моделями и не ассоциируя с отдельными признаками в материальной культуре и других сферах. Нужно анализировать процессы формирования культурных ареалов и их содержание. Такая постановка вопроса не исключает, а стимулирует изучение генезиса всех компонентов в разных регионах с

целью выяснения их истоков, степени различия и сходства, в отличие от предвзятых концепций финно-угорской принадлежности каких-либо типов древностей каменного века.

Конкретно, волго-окская гипотеза не объясняет сходство финно-угорских языков и наличие восточных расовых элементов у современных западных этносов, потому что ни генезис исходных древностей с ямочно-гребенчатой керамикой, ни происхождение культуры сетчатой керамики совершенно не связаны с Камско-Уральским регионом. Кроме того, переселение из Поволжья на север в неолите – это вовсе не очевидный факт. Идея А. Я. Брюсова (1952) и его последователей о движении избыточного населения Волго-Окского междуречья на север представляет собой не более чем приложение классической модели миграции и основана лишь на общем сходстве ямочно-гребенчатой посуды обоих регионов. Детальное сравнение ямочно-гребенчатой керамики Поволжья и северной части ареала сторонники волго-окской гипотезы не производили и не выделили признаки, бесспорно свидетельствующие о распространении данной культуры именно в северном и северо-западном направлениях.

В новой обзорной версии (Carpelan and Parpola, 2001) сделана попытка широкой корреляции древних культур и языков от Балтики до Алтая. Волго-Окское междуречье признается регионом, который периодически генерировал избыточное население. Оттуда якобы семикратно, от мезолита до железного века, распространялись «волны влияния» на север и порождали изменения в материальной культуре. Кроме того, спорные вопросы генезиса культур Поволжья и Восточной Фенноскандии в этой работе освещены очень выборочно, а отсылки к суждениям археологов и лингвистов сделаны по свойственному компиляциям принципу «наибольшего доверия» – нетрудно догадаться, что он эксклюзивно работает в пользу данной версии волго-окской гипотезы. Финно-угорская принадлежность локальных культур определяется путем простого совмещения их хронологической колонки с древовидной схемой лексико-фонетического развития уральских языков, а также индоевропейскими заимствованиями, колонка которых искусственно растягивается во времени.

Исходным звеном этой этноисторической картины является начало уральско-индоевропейских контактов. Предполагается, что древнейшие протоарийские слова «пчела» \*mekše и «мед» \*mete были заимствованы протофинно-уграми лесной зоны Европейской России вместе со словами «горшок» \*pata и «вода» \*wete около 6000 лет до н.э., потому что якобы именно тогда они в Поволжье научились у протоарийцев технике изготовления глиняной посуды, а вместе с ней медовой браги или пива (Carpelan and Parpola, 2001). Трудно обсуждать столь умозрительный сценарий древнейших индоевропейских заимствований в уральских языках и культурах мезолита – раннего неолита. По мнению некоторых лингвистов, эти и ряд иных слов не являются собственно протоарийскими и находят параллели в других языковых семьях (Напольских, 1997б). Во всяком случае, древнейшим протофинноязычным населением в Карелии и Финляндии тогда следовало бы признать не носителей культуры с ямочно-гребенчатой посудой, а с самой древней керамикой сперрингс, которая в последнее время считается в Карелии инородной культурой поволжского происхождения (Витенкова, 1996а). В результате исторические условия появления древнейших протоарийских заимствований в западных финских языках волго-окская гипотеза определяет чисто гипотетически и довольно предвзято. Вместе с тем А. Парпола (Parpola, 1999) полагает, что большинство арийских, точнее, иранских заимствований появилось в западных финских языках вместе с культурой сетчатой («текстильной») керамики бронзового века, что весьма вероятно.

Заметим, что вряд ли можно сомневаться в поволжском происхождении, например, культуры сетчатой керамики ряда областей Восточной Фенноскандии (см.: Косменко, 1993), но взгляды российских археологов на генезис других культурных типов радикально расходятся. Так, постулированное А. Я. Брюсовым (1952) волго-окское происхождение ямочно-гребенчатой керамики Северной России в последнее время небезосновательно оспорено в пользу гипотезы о ее местном сложении (Крайнов, 1991; Лобанова, 1996а). Оспорена гипотеза о поволжских, «волосовских» истоках культуры позднего энеолита Карелии (Панкрушев, 1978, 1). Нет

единого мнения о путях первоначального заселения края в мезолите, и совсем нет оснований говорить о каких-либо формах прямого участия культур Волго-Окского междуречья в сложении древностей железного века Карелии (Косменко, 1992, 1993). В результате оказывается, что в волго-окской концепции не преодолены обычные недостатки и миграционной, и эволюционной концепций – слабое обоснование исходной миграции и неясность содержания процессов генезиса и смены культурных типов.

Итак, волго-окская гипотеза не решает проблему опознания протофинского этноязыкового ареала в древней культуре. Тем не менее разработки в этом направлении показали, что поволжские древности эпохи неолита с ямочно-гребенчатой и особенно бронзового века с сетчатой керамикой имеют реальное отношение к генезису культуры западных финноязычных этносов.

Существует и теория гибридного происхождения финноязычных народов. Она предполагает минимум два разнородных компонента, на основе которых сформировались эти этносы, и снимает ряд противоречий, свойственных моноцентрическим гипотезам. Однако данная концепция слабо разработана. Она распространена преимущественно среди антропологов в виде теории метисации, согласно которой расовый облик финно-угров на Севере Европы сложился в древности как результат скрещивания европеоидов и монголоидов (Дебец, 1961; Денисова, 1997; Алексеев, 1969, 1974а; Марк, 1974; Беневоленская, 1984 и др.). Неравномерное распределение и общее ослабление «монголоидности» финно-угров по направлению к западной периферии их ареала служит доводом в пользу этой гипотезы. Проблема заключается в том, что непросто разделить собственно монголоидные черты, привнесенные восточными иммигрантами, и отчасти сходные краниологические признаки субстратного населения каменного века в лесной зоне. О конкретных компонентах, хронологии и исторической динамике этого смешения нет четких представлений главным образом из-за нехватки древних материалов из западных регионов и слабой разработки методики ситуационного анализа. По В.П. Алексееву (1969), заметное усиление монголоидности населения лесной зоны Европейской России произошло в раннем железном веке, когда в

Прикамье сложилась ананьинская культура. Однако давно существует археологически ничем не подтвержденное мнение, что монголоидный компонент появился на западе еще в эпоху мезолита, в частности в Оленеостровском могильнике (Жиров, 1940; Герасимов, 1955; Дебец, 1961; Беневоленская, 1984 и др.). Хотя антропологические типы обычно не распространяются без культуры и языка (Дебец и др., 1952), но лингвистами, в меньшей мере археологами концепция гибридизации разрабатывалась недостаточно и ее познавательные возможности слабо реализованы в этих дисциплинах. В целом она перекликается с полицентрическими моделями сложения уральских языков.

Факт существенного различия морфологии пермских и более западных финских языков (Серебренников, 1977) выводит принципиальное решение вопроса на пути полицентрической концепции сложения финноязычных этносов. Эта модель более адекватно сопрягается с процессами в материальной культуре, чем схема языкового дерева. Такого рода структурные различия с большим основанием можно определять как генетические, нежели дивергентные. Я. Пустаи (1994) шире рассматривает языковую картину. Отрицая существование общего языка-основы, он выделяет восточный и западный центры сложения морфосинтаксиса уральских языков. К западному центру он относит финские языки, к восточному – угорские и самодийские, а также мордовский язык. Однако нет веских оснований разделять гипотезу Я. Пустаи (Pusztay, 1998) о возникновении этих различий при первоначальном заселении, т.е. проецировать современную языковую карту в столь глубокую древность. В ареале финно-угорских языков неоднократно происходили изменения, по крайней мере в материальной культуре, которые подлежат объяснению и в этноязыковом отношении.

Структурные различия вряд ли могли быстро возникнуть в результате дробления языков. Проблемой, скорее, является сходство лексики финно-угорских языков, которое, вероятнее всего, могло сложиться в ходе взаимной адаптации разнородных этносов. Более ясная ситуация складывается в археологии: местные культуры западной части лесной зоны Европейской России, включая Карелию, в раннем железном веке были в разной степени интегрированы

камской ананьинской культурой (см. ниже). Полицентрическая концепция первоначального сложения с последующей интеграцией камско-уральским этническим компонентом, на мой взгляд, наиболее перспективна для дальнейшей разработки и не противоречит современному состоянию знаний об этногенезе европейских финноязычных народов.

### *Ключевые пункты методики исследования*

Как видно, все основные концепции опираются на факты, но в силу односторонности подхода и/или недостатка материалов и исследований адекватно не описывают этноисторические изменения у предков западных финноязычных народов. В данной ситуации необходимо определить ограничения, общие ориентиры и опорные факты. Нужно иметь в виду, что ни один из объективных компонентов этноса не имеет абсолютного значения как этногенетический критерий. Можно лишь выбрать условный общий индикатор этносов, в качестве которого обычно принимается язык, но историческая динамика изменений разных компонентов может не совпадать, а язык и культура могут заимствоваться. Поэтому нельзя безоговорочно проецировать в другие сферы регулярности, выявленные в какой-либо одной сфере. Различен и доступный для реконструкции хронологический диапазон основных компонентов. Сравнительный анализ выборки среди различных народов мира, проведенный В. П. Алексеевым (1977), показывает, что антропологические данные обычно пригодны для освещения ситуации с каменного – бронзового веков, лингвистика дает максимум сведений об языковых различиях в железном веке – Средневековье, а этногенетические предания, как правило, не древнее Средневековья. Разумеется, эти ограничительные вехи не нормативны, но могут служить ориентирами при проведении и оценке этноисторических исследований в соответствующих дисциплинах.

Синтетический подход можно представить как способ описания этносов в виде изменчивых систем с нежесткими, во многом неясными функциональными связями между элементами и с еще менее детерминированными внешними контактами. Основными приемами анализа в его рамках являются: сопоставление разнородной

информации крупными блоками, поиск и перекрестное сравнение явлений, обусловленных сходными причинами, сосредоточение на узловых событиях этнической истории и их отражения в разных источниках, выделение серии опорных фактов (Клейн, 1988). Сюда нужно добавить разработку аналитических процедур для получения данных, позволяющих сделать наиболее вероятные модели при данном состоянии знаний. Такие процедуры должны быть ориентированы на систематическое описание конкретных контекстов и отражать пространственно-временные изменения в различных сферах этноса. Это в полной мере относится и к археологическим материалам.

Археология датирует изменения в культуре, но не располагает надежными средствами опознания языковых и расовых общностей. Сравнение данных археологии и других дисциплин в принципе возможно, но не на уровне прямого сопоставления конкретных систематизированных материалов. Надежнее сравнивать основные черты и динамику процессов в разных сферах этноса, особенно в переломные периоды истории, чтобы проследить, насколько они совпадают. Это высший уровень сопоставления результатов описательного анализа, далее речь может идти о сравнении представлений исследователей. Отсюда вытекает сложная задача – описание процессов формирования обширных культурных ареалов каменного – железного веков в лесной зоне Европейской России. В содержательном аспекте основной проблемой является объяснение изменчивости культуры, особенно смены археологических культурных типов во времени. Решению обеих задач препятствует нехватка конкретных разработок, которая негативно сказывается на качестве сравнительного анализа древностей Карелии и других регионов. Поэтому культурные типы Карелии следует, по мере возможности, рассмотреть на фоне обширных культурных ареалов и определить, насколько они вписываются в общие контуры процессов в древней культуре лесной зоны, а также обсудить проблемы их интерпретации.

При анализе вопросов этнической истории в конкретном регионе нужно учитывать его географическое положение в пределах языкового ареала. Карелия находится в тыльной, а не в

маргинальной части ареала западных финноязычных народов. Можно утверждать, что здесь нет следов прямых регулярных контактов с древними индоевропейскими культурами Поволжья и бассейна Балтики и лучше сохранились традиционные элементы. Здесь можно проще и надежнее определить исходные финно-саамские древности, чем в периферийных западных и южных областях. На периферии облик культуры значительно изменялся в результате связей с иноязычными соседями, и процессы в древней культуре этих зон требуют особо тщательной техники анализа. Там происходили значимые процессы этнокультурной адаптации финно-угров, но мы будем их касаться лишь по мере необходимости. Отсюда ясно, что анализ пространственной изменчивости археологических материалов является очень важным аспектом исследования. Именно он позволяет надежнее сгруппировать признаки, определить тенденции и описать изменения материальной культуры в рамках крупных культурных ареалов лесной зоны.

Опорным пунктом при решении проблемы исходных западных финно-саамских древностей может служить факт отсутствия следов разновременных финно-угорских языков самостоятельного восточного происхождения и в современных языках, и в неплохо сохранившейся на Северо-Западе России дорусской топонимии. С предками носителей современных финно-угорских языков здесь определенно можно связывать только самый поздний пласт культуры с общими элементами восточного происхождения, независимо от генезиса более древних пластов, при условии, что между ними нет явной преемственности. Именно этот пласт может отражать становление финно-угорской или финской общности.

Изменялись все компоненты древних этносов, и особенно изменчива материальная культура. Локальные культурные типы представляют собой сложные комбинации элементов, изменения которых вызывали разные причины и конкретные факторы. В общем, эти факторы и соответственно элементы культуры можно схематически разделить на три группы. Такое членение предлагал Л. Бинфорд (Binford, 1965, p. 206–209), и оно вполне отвечает общим целям причинного анализа.

Во-первых, это относительно устойчивые сочетания «традиционных» элементов, прямо не связанных с функциями изделий, в том числе орнаментика на лепной посуде и иных вещах местного производства, а также стилистика деталей формы изделий. Изменения этих элементов и их комбинаций определяли преимущественно факторы внутреннего, а не внешнего характера, поэтому они наиболее пригодны для изучения генезиса локальных культур и древних переселений. Во вторую группу объединены элементы, отражающие различные формы этнической адаптации, – смешение, заимствования, торговый обмен с соседними и субстратными этносами. Они ценны в ряде отношений, в частности, как средство корреляции с подобными явлениями в других сферах конкретного этноса. Есть и третья группа элементов, подверженных приспособлению к особенностям местной природной среды. Это геотопографическое размещение археологических памятников, использование местных видов сырья, некоторые черты хозяйства, образа жизни и быта. Экологическая адаптация разнородных культурных типов протекала индивидуально, но в общем нивелировала их внешний облик, формируя сходные черты и нередко создавая иллюзию культурной и этнической преемственности.

Преобладание изменений в какой-либо группе элементов косвенно указывает на основные факторы, которые приводили к смене культурных типов, но группы резко не разграничены. Местная «окраска» инородных элементов иногда возникала вследствие диффузии или заимствования субстратных традиций использования природной среды, т.е. культурной адаптации. Встречаются заимствования инородных традиционных элементов, свойственных культуре-«донору». Некоторые адаптированные элементы чужой культуры становились традиционным предметом местного производства, и со временем их облик изменялся, образуя местные вариации. Анализ древностей Карелии с этих позиций позволяет точнее охарактеризовать содержание процессов генезиса и смены культурных типов.

## *Происхождение, смена и этническая принадлежность культур бронзового века – раннего Средневековья в Карелии*

В Карелии выделяются минимум восемь основных хронологических пластов культуры охотничье-рыболовецкого населения, сменившихся от эпохи мезолита до раннего Средневековья (АК, 1996). Древности первонасельников края представлены культурой эпохи мезолита с постсвидерскими элементами. Далее следуют сменившие друг друга два культурных типа эпохи неолита с керамикой сперрингс – сярйясниеми 1 и ямочно-гребенчатой. В позднем неолите – раннем энеолите их сменил пласт синхронных культур с гребенчато-ямочной и ромбоямочной посудой. В позднем энеолите сформировалась культура с керамикой «классического» типа, содержащей примесь асбеста или органики, она относится к пласту восточноевропейских культур волосовско-гаринского круга.

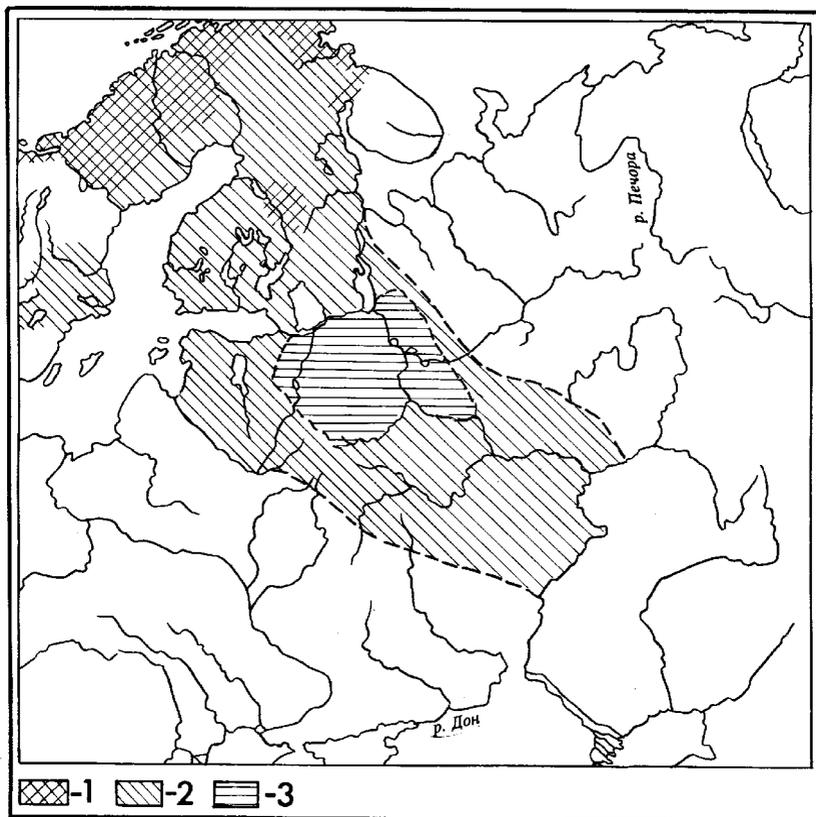
Формирование этих пяти культурных пластов каменного века – энеолита в лесной зоне между Уралом и Балтикой изучено по-разному, но неполно, что отражает широкий спектр гипотез об их происхождении (см. ст. В. Ф. Филатовой, Н. В. Лобановой, И. Ф. Витенковой в наст. сб.). Надежно не установлена и этноязыковая принадлежность основных культурных типов. Некоторые археологи предполагали приуральские истоки древнейшей культуры эпохи мезолита (Брюсов, 1952), приписывая ее прото-саамам (Панкрушев, 1978, ч. 1), зауральское происхождение и финно-угорскую принадлежность неолитической культуры сперрингс (Янитс, 1956; Гурина, 1961; Чернецов, 1963; Третьяков, 1966) и культуры гребенчато-ямочной керамики (Третьяков В. П., 1972), волго-камские истоки пласта волосовско-гаринских культур периода энеолита (Третьяков, 1966; Халиков, 1969; Бадер, 1972; Панкрушев, 1975).

Не вдаваясь в разбор этих и альтернативных взглядов, заметим, что факты переселений не были надежно установлены, а упомянутые версии восточной теории явно не получили продуктивного развития. Конечно, генезис и процессы смены культур каменного века – энеолита нуждаются в более детальном анализе, однако сумма известных данных свидетельствует о том, что все эти типы

древностей формировались в западной части Русской равнины или в восточной части бассейна Балтики. В бронзовом веке произошло внедрение в Волго-Камье сейминско-турбинской культуры сибирского происхождения (типичные для нее бронзовые изделия найдены также в Белозерье и Финляндии), но ее носители вскоре исчезли или частично растворились в местной этнической среде (Черных, Кузьминых, 1987). Мнение о том, что это была арийская элита воинов-торговцев бронзовыми изделиями в двуязычной финно-угорской абашевской культуре (Carpelan and Parpola, 2001), мне представляется менее вероятным из-за недостатка и спорности доводов в пользу абашевской принадлежности сейминско-турбинских могильников. Пока не установлена надежная корреляция упомянутых культур с какими-либо типами топонимов. Гипотезы о финно-угорской принадлежности древностей каменного века – энеолита следует проверить путем анализа генетической связи с культурами бронзового века – раннего Средневековья.

### ***Бронзовый век. Культура сетчатой керамики***

Распространение в бронзовом веке культуры и сетчатой керамики, датируемой в Карелии по  $C_{14}$  между 3600 – 2500–2250 л.н. (Косменко, 2003), прервало развитие культур позднего неолита – энеолита с восточнобалтийскими элементами (рис. 1). Она генетически не связана с предшествующей культурой позднего энеолита, для которой характерны жилища-полуземлянки, посуда с примесью асбеста и органики, использование местной самородной меди, сланцевые орудия восточнобалтийских типов и янтарные украшения. Их нет в культуре бронзового века, как и следов грунтовых захоронений с янтарными изделиями, известных в западных областях ареала волосовско-гаринских древностей, в том числе в южном Беломорье (см.: Савватеев, 1977). Сходство имеют отдельные черты адаптации к местной природной среде, главным образом использование местных минералов для каменных орудий и размещение поселений в приустье рек.



**Рис. 1. Ареал древностей с сетчатой посудой бронзового – раннего железного века на Севере Европы**

1 – «вафельная» керамика; 2 – сетчатая керамика; 3 – сетчатая керамика на раннем этапе

В Карелии выявлено около 90 поселений с сетчатой керамикой (Косменко, 1996а). Могильники не обнаружены. Неукрепленные поселения обычно расположены на низких террасах и иных формах рельефа в приустье рек, на местах поселений более ранних периодов, и представляют собой культурные комплексы на многослойных памятниках. Они крайне редки на песчаных берегах глухих озерных заливов, где много зимних поселений каменного

века – энеолита с жилищами-полуземлянками. Полуземлянок в бронзовом веке не сооружали; известны только нечеткие отпечатки округлых или овальных наземных жилищ типа чумов. Эти данные косвенно отражают иную форму охотничье-рыболовецкого хозяйства и более подвижный образ жизни, чем в энеолите. В окрестностях поселений нет пригодных для земледелия и животноводства участков; нет прямых и косвенных признаков производящего хозяйства на поселениях и в сохранившемся вещевом инвентаре.

Географическое размещение поселений в Карелии характеризуется последовательным уменьшением их числа, размеров и общего количества материалов в западном и северном направлениях. Так, на юго-востоке Карелии (восточная часть бассейна Онежского озера) известно более 30 поселений, содержащих свыше 400 сосудов, в западной части Онежского бассейна эти цифры соответственно составляют 25 и около 200, в северном Приладожье – 8 и примерно 100, а в бассейне Белого моря около 20 и 100. Наиболее крупные поселения сосредоточены на юго-востоке края. Можно заключить, что культура сетчатой керамики распространялась преимущественно из юго-восточной Карелии на запад и север. Данные по соседним областям подтверждают эту регулярность (Манюхин, 2002).

Результаты анализа основных признаков глиняной посуды не расходятся с таким выводом (см.: Косменко, 1993, 1996а; Kosmenko M. G., 1996). В указанных направлениях, особенно к северу, уменьшается число архаичных сложных орнаментов зональной структуры, профилированных сосудов, скошенных и приостренных форм их венчиков. Орнамент заметно упрощается: соотношение зональных узоров и обедненных орнаментов в виде узких лент-бордюров на юго-востоке Карелии составляет 34 и 64,1%, на юго-западе – 31,2 и 67,8, а в бассейне Белого моря – 14,5 и 85,5% всех сосудов. Сходным образом уменьшается количество профилированных сосудов: от 93,1% в Каргополье и Белозерье до 75,5 в южной Карелии и 20% в Беломорье. Они есть в Финляндии (Lavento, 2001), но практически отсутствуют в Северной Фенноскандии (Jørgensen and Olsen, 1988). Это дивергентные изменения, которые отражают постепенный распад первоначальных традиций производства сетчатой посуды.

Сначала культура с сетчатой керамикой формировалась в северных, левобережных областях бассейна верхней Волги. Именно там получены самые ранние радиоуглеродные даты сетчатой керамики в пределах первой половины II тыс. до н.э. на поселении Ивановское III (Крайнов и др., 1990). В общем, это зона контакта с поздняяковской культурой, в ней есть ряд традиционных элементов степной срубной культуры, которую многие исследователи небезосновательно считают ираноязычной. Ранняя сетчатая керамика юго-восточной Карелии содержит отчетливые признаки трех исходных поволжских культур: ямочно-гребенчатой керамики, поздняяковской и «постфатьяновской», которую археологи также называют чирковско-сейминской или чирковской. Первые два компонента хорошо выражены в орнаментике и формах посуды, а чирковские элементы отчетливее прослеживаются в формах, но слабее – в орнаменте (Косменко, 1993). Субстратные элементы четко не выражены: имеются лишь каменные молоты с опоясывающим желобком, встречающиеся в волосовских древностях. Есть и небольшой процент посуды с органической примесью, но ее отношение к собственно волосовской керамике определить трудно. Еще отчетливее исходные поволжские компоненты выражены в сетчатой керамике Вологодской и южной части Архангельской областей (Манюхин, 2002), однако эти разнородные генетические компоненты уже практически не прослеживаются в западной, тем более в северной Карелии. Наряду с деградацией орнамента и профилированных форм там изменяется способ обработки поверхности посуды: шире распространяется штриховка стенок зубчатым штампом, которая вытесняет сетчатые отпечатки, и увеличивается число гладкостенных сосудов. Эти тенденции отмечаются и в поздней сетчатой керамике южной Карелии, т.е. сходным образом культура изменялась и во времени.

Видовой состав каменных орудий вполне обычен (скребки, наконечники метательного оружия, рубяще-долбящие орудия и др.). Фиксируется более широкое использование привозного кремня, чем во всех прочих периодах и культурах Карелии, иными словами, степень экологической адаптации этого населения была менее высокой. Металлообработка тоже базировалась

на привозной бронзе, а не на использовании местных месторождений самородной меди, как в энеолите. Обнаружены следы ее плавки в небольших тиглях, в том числе с сетчатыми отпечатками на стенках, а также бронзовый кельт аозинско-меларского типа.

Эти изменения положены в основу периодизации поселений. Условно выделены два хронологических этапа (Косменко, 1993). Поселения раннего этапа, в целом охватывающего вторую половину II тыс. до н.э., известны преимущественно в юго-восточной Карелии. На позднем этапе (рубеж II–I – середина – третья четверть I тыс. до н.э.) культура сетчатой керамики быстро распространилась почти на всей территории Карелии, на востоке Финляндии (Lavento, 2001) и, видимо, в ряде других областей Феноскандии.

Итак, пространственно-временные изменения облика северной сетчатой посуды пошли по пути распада исходной комбинации и последовательной деградации традиционных черт, особенно структуры орнамента, состава форм и некоторых деталей посуды в направлении распространения культуры к северной и западной периферии ареала. Объяснить социальное содержание этих изменений довольно сложно. На мой взгляд, речь может идти о постепенной утрате общности культурных традиций. Традиционные стандарты нарушались из-за утери связей между родственным по происхождению населением обширных территорий. Кроме того, глиняная посуда в северотаежных областях реже изготавливалась и применялась. Она теряла свою ценность, поэтому украшалась скуднее и небрежнее. Экологическая адаптация в конечном счете привела к сравнительно подвижному образу жизни таежных охотников-рыболовов. Адаптация к субстратной культуре в Карелии практически не прослеживается – сохранялись основные связи с Поволжьем (бронзовые кельты аозинско-меларского типа).

Сумма всех данных позволяет сделать вывод, что распространение культуры сетчатой керамики и переход к бронзовому веку в Карелии отражают процесс миграции населения из левобережных, северных областей верхнего Поволжья. Здесь мы не касаемся вопросов генезиса и этнической атрибуции сетчатой керамики запад-

ных и юго-западных периферийных областей – Валдая, Прибалтики, юго-западной Финляндии, где исследователи акцентируют элементы местного происхождения (Воронин, 1998; Lavento, 2001), поселений на р. Волхов с отчасти сетчатой, оригинально украшенной посудой (Юшкова, 2004), а также «вафельной» керамики с примесью органики на севере Фенноскандии. Происхождение последней некоторые финские археологи были склонны связывать с Восточной Сибирью (Карпелан, 1982), но позднее попытались обосновать идею ее генетической связи с керамикой типа рисвик Северной Скандинавии (Carpelan, 1994). В посуде периферийных северных и западных областей ареала сетчатой керамики наряду с органикой встречается примесь асбеста при сильной деградации орнамента и исчезновении профилированных сосудов. Это явление свидетельствует либо о заимствовании технологических традиций субстратных культур на северной периферии ареала, либо о внедрении инородной техники обработки поверхности посуды в местные культуры. Различить содержание инноваций на периферии ареала можно только посредством специальных аналитических процедур.

В этой связи нужно затронуть важный, но спорный вопрос об этноязыковой принадлежности предшествующих энеолитических культур волосовско-гаринского пласта III–II тыс. до н.э. в лесной зоне Европейской России, в том числе культуры с керамикой «классического» типа в Карелии, имеющей примесь асбеста и органики. Как и Д. А. Крайнов (1981), я не нахожу прочных доказательств сложения финно-угорской общности именно в этом периоде. Во-первых, процесс формирования данного культурного ареала детально не описан и нуждается в дальнейшем изучении. Ряд упомянутых археологов (О. Н. Бадер, П.Н. Третьяков, А. Х. Халиков и др.), а вслед за ними и лингвисты (Хайду, 1985; Напольских, 1997б) поддерживают гипотезу о распространении культуры данного типа из Прикамья и среднего Поволжья на запад, но другие это отрицают (Панкрушев, 1978,1; Мейландер, 1982; Крайнов, 1987) или считают, что процесс шел в обратном направлении (Косменко, 1993; Carpelan and Parpola, 2001). Однако археологи не описывают регулярности пространственно-временных изменений

керамики и других категорий археологического материала, которые можно признать вескими свидетельствами распространения культуры в каком-либо направлении. Во всяком случае, «восточной» гипотезе генезиса западных культур данного круга явно противоречат относительно ранние даты по С<sub>14</sub> ряда поселений Поволжья и Карелии в пределах первой половины – середины III тыс. до н.э., посуда с узорами неолитоидного облика на ранних поселениях, заметно редущий к востоку шлейф янтарных и каменных изделий восточнобалтийских типов, а также доминирующий европеоидный компонент расового облика волосовцев.

Во-вторых, субстратный волосовский компонент не настолько отчетливо прослеживается в культуре поволжской сетчатой керамики (см.: Воронин, 1998), чтобы утверждать их преемственность; нет следов местного субстрата и в культуре Карелии. Заявления современных сторонников эволюционной теории этногенеза о преемственности этих культурных типов, объясняющих различия как результат коренной трансформации материальной культуры при переходе к «производящему хозяйству» (Сидоров, 2000), представляют собой натяжки, вполне типичные для данного подхода. Прямые и косвенные признаки производящего хозяйства отсутствуют не только в материальной культуре северных поселений с сетчатой посудой. Нет оснований говорить о развитом земледелии и на южной окраине этого культурного ареала (Кузьминых, 2001б).

В других дисциплинах трудно отыскать точки сопряжения. Древнейшие слои или типы топонимов восточного либо балтийского происхождения, соответствующие основным гипотезам происхождения культур волосовско-гаринского пласта, надежно не выделены на Северо-Западе России и в Поволжье. Неясно, сохранились ли они вообще, потому что в Поволжье твердо не установлено и наличие слоя индоевропейских названий, сопряженных с фатьяновско-балановскими древностями раннего бронзового века. Попытки некоторых археологов и лингвистов привязать энеолитические культуры к общим схемам лексико-фонетического развития уральских языков настолько умозрительны, что в настоящее время их даже трудно обсуждать, тем более признать опорой для этноязыковой идентификации культур этого времени. При современном

состоянии изученности вопрос об отношении языков жителей лесной зоны периода энеолита к современным финским языкам остается открытым для дальнейшей разработки.

Многие российские археологи предполагают древнефинскую принадлежность сетчатой керамики позднего бронзового – раннежелезного веков. В основе этих взглядов находится представление об ее преемственной связи со средневековыми финскими культурами Поволжья. Такую посуду изготавливали вплоть до первых веков н.э. на дяковских и городецких городищах. Однако и культура сетчатой керамики, и древности, на основе которых она сложилась, совершенно лишены традиционных элементов камско-уральского происхождения. Более того, на южной периферии ареала сетчатой посуды в железном веке происходили тесные контакты с культурами Прикамья и Прибалтики, которые отразились не только в материальной культуре, но, вероятно, и в других сферах этноса. Интерпретировать эти факты культурной адаптации очень непросто. Исследователи дяковских городищ полагают, что в I тыс. н.э. на них жили финно-балты (Розенфельдт, 1974) или балты (Дубынин, 1974), тогда как в материалах поволжских, особенно окских, древнемордовских могильников этого времени явно преобладает сильное влияние синхронных культур Прикамья (Горюнова, 1961; Архипов, 1967; Полесских, 1970). В этой связи заметим, что некоторые лингвисты относят мордовский язык к числу восточных уральских языков (Пустаи, 1994). Таким образом, стратегию решения проблемы принадлежности древностей с сетчатой посудой надежнее строить на данных из тыльных, а не периферийных областей ареала.

Полное отсутствие восточных элементов и крайне слабая адаптация к субстратным традициям дают основание полагать, что культура бронзового века инородна в Карелии и отражает миграцию этноса поволжского происхождения. Она имеет генетическую связь с верхневолжской ямочно-гребенчатой керамикой, но в ее сложении участвовали и другие культуры, так что крайне сложно сделать обоснованные реконструкции языковых изменений на отрезке времени от позднего неолита до бронзового века. Сравнительный анализ колонок пластов древней культуры и топонимии

позволяет заключить, что культура сетчатой керамики, вероятнее всего, соотносится с древним, иначе «волжским» или «волгоокским» слоем гидронимов Карелии и более южных областей лесной зоны (Косменко, 1993), потому что ни предшествующий, ни более поздние слои древностей не могли оставить ареал подобной конфигурации. Впрочем, возможно, что в его составе есть незначительная примесь более древних названий (Матвеев, 1969). Ареалы этого пласта топонимии (см.: Серебrenников, 1955) и культуры сетчатой керамики верхневолжского происхождения в целом близки, чего нельзя сказать о предшествующих культурах волосовско-гаринского ареала. Язык носителей культуры сетчатой керамики в Карелии, вероятно, был ответвлением языков населения верхнего Поволжья, но нет оснований думать, что в генетическом плане он был связан с Камско-Уральским регионом. Вместе с тем эта культура и этнос ее носителей послужили базовым субстратным компонентом при формировании западных финноязычных этносов железного века (Третьяков, 1961; Косменко, 1993). Она была своего рода мостом между культурами каменного века и финно-саамскими культурами железного века в северо-западной части Европейской России, но не была близка по своему происхождению древностям предков пермских финнов. На мой взгляд, нет оснований ассоциировать ее с частью финно-угорской языковой общности и, следовательно, можно определить как «предфинноугорскую».

### ***Железный век. Культуры с ананьинскими элементами***

Процесс сложения материальной культуры железного века был иным и заслуживает особого внимания. Примерно с VIII в. до н.э. в лесной зоне между Уралом и Балтикой начал формироваться обширный культурный ареал, который можно условно обозначить как «ананьинский». Здесь нет необходимости останавливаться на проблематике изучения собственно ананьинской культурной области в бассейне р. Камы (обзор см.: Кузьминых, 2001a), но очевидно, что классификационная терминология, отражающая процесс формирования локальных культур во всем ареале с ананьинскими элементами, еще полностью не сложилась.

Не совпадают и решения узловых проблем в современных версиях этнической истории ананьинского ареала. В целом они отражают противоречия, свойственные восточной теории происхождения финно-угров. В. В. Напольских (1997б), опираясь на ее популярную версию, разработанную А. Х. Халиковым (1969), считает что истоки языкового родства финских народов восходят к энеолитической волосовско-гаринской культурной общности волго-камского происхождения. Следуя широко принятому мнению, он в то же время полагает, что сложение финнов Поволжья и Северо-Западной России связано с формированием ареала сетчатой керамики бронзового века, а волжские финны железного века сосредоточены в ареале городецко-дьяковских поселений. Остается неясным их отношение к пермским финнам, ибо сетчатая керамика имеет хорошо выраженный компонент, позволяющий связывать ее генезис с ямочно-гребенчатой посудой западного происхождения, а не с волосовско-гаринскими древностями.

С. В. Кузьминых (2001а) осознает заметное генетическое различие между верхневолжскими и камскими древностями и вытекающую отсюда противоречивость схемы А. Х. Халикова. В то же время он дистанцируется и от полицентрической гипотезы сложения финнов, считая, что ананьинская область вкупе с областью сетчатой керамики отражает сложение финно-волжско-пермского единства в раннем железном веке (Кузьминых, 2001а), видимо, предполагая распространение на запад восточного языка вместе с гибридной культурой ананьинского пласта. Неизбежно возникает вопрос о времени сложения различий между пермскими и более западными финскими языками, и С. В. Кузьминых постулирует территориальный разрыв между камским и волжским населением, который, по его мнению, возник с конца VI в. до н.э. после исчезновения культуры с восточными элементами в среднем Поволжье и ее распространения в северо-западные области России. Понятно, что такой разрыв, при условии распространения языка восточного происхождения или какой-то формы его слияния с местными языками, в принципе мог бы объяснить различия между современными пермскими и волжскими языками как следствие разобщения и обособления этносов. Разрыв выглядит искусственным, потому

что в инвентаре поволжских и окских могильников I тыс. н.э. присутствует хорошо выраженный прикамский компонент, т.е. связь между Поволжьем и Прикамьем если даже и были утеряны, то вскоре восстановились. В Карелии именно камско-уральские, а не поволжские связи прослеживаются в течение всего железного века.

Автор данной статьи на основе разработанной им методики анализа вариативности и пространственно-временной изменчивости археологических материалов бронзового – железного веков Карелии выделил разнородные компоненты в культурах этих периодов и сопоставил результаты с данными топонимики и лингвистики (Косменко, 1993; Косменко, Кочкуркина, 1996). Основные этногенетические выводы свелись к тому, что культура сетчатой керамики бронзового века в Карелии принадлежит населению верхневолжского происхождения, оставившему древнейшую, «волжскую» гидронимию. Сложение финноязычных этносов, а именно саамов, вместе с синхронным слоем топонимов, связано с формированием в железном веке серии локальных культур с выраженным ананьинским компонентом. Эту технику применил и основные выводы принял И. С. Манюхин (2002), который поспешил нарисовать в позитивных тонах широкую картину сложения в железном веке древних саамов в ареале от Приладожья и Белозерья до Северной Фенноскандии. Однако он обошел ряд узловых вопросов, в частности, связанных с методикой анализа и синтеза разнородных данных, что отразилось и на качестве работы, которая, будучи в значительной мере компиляцией, отразила определенное состояние изученности проблемы генезиса саамов.

Нужно сказать, что техника формального анализа археологических материалов в общем достигает целей описания их изменчивости, выделения разнородных компонентов и создает базу для содержательного анализа процессов сложения культурных типов. Нет оснований отказываться и от параллелей между основными пластами культуры и топонимии, но этногенетические построения и автора, и И. С. Манюхина основаны на принятой а priori модели дерева уральских языков и восточном происхождения финноязычных этносов. По сути дела, в этих работах в неявной форме и

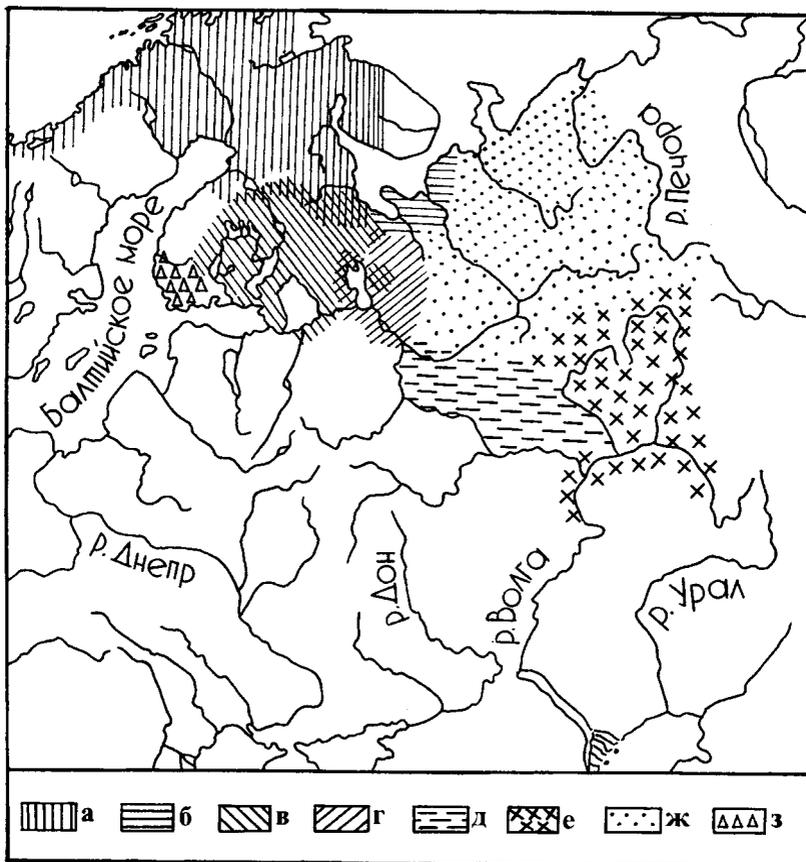
бездоказательно поддержана идея распространения языка восточного происхождения вместе с ананьинским культурным компонентом и соответственно смены языка местными этносами северо-западных областей России.

Здесь неизбежно всплывает сакраментальный вопрос о сложении языков западных финноязычных народов и их отношении к языкам восточных финно-угров. Веская сумма доводов против смены языка западными этносами должна быть принята во внимание. Вытеснение местных языков восточным языком и его быстрая дивергентная трансформация маловероятны потому, что восточной, пермской топонимии нет в Фенноскандии, а лексика современных саамских языков обнаруживает отчетливые параллели с марийской, а не с пермской лексикой. Поволжские, но не камско-уральские параллели очевидны и в субстратной топонимии. Больше того, различия пермских и более западных языков существенны и наблюдаются в сфере не только лексики, но и морфосинтаксиса, т.е. структуры, поэтому их гораздо вероятнее объяснить различным генезисом, а не дивергентным расхождением.

Косвенные данные свидетельствуют в пользу такого объяснения. Культуры железного века с ананьинскими элементами в западных регионах имеют мощный, а на периферии преобладающий субстратный компонент в традиционной сфере, включая погребальные традиции. Высокая степень их экологической адаптации тоже косвенно указывает на присутствие этнического субстрата. Эти данные показывают, что основа культурной и языковой общности Поволжья и северо-западных областей России была заложена в бронзовом веке и сохранилась позднее, во всяком случае, налицо предпосылки такой преемственности. Бесспорно имеющийся восточный компонент можно определить как интегрирующий, но не базовый в процессе этногенеза западных финноязычных этносов. В конечном счете идея смены языка у этих этносов, опирающаяся на сходные компоненты лексики современных языков, обоснована слабо; равно неприемлемо их определение как нефинноязычных, поскольку в процессе интеграции субстратные языки стали базовыми компонентами. Впрочем, о финно-уграх как языковой общности можно говорить только со стадии интеграции языков.

Коллизии, свойственные современным версиям «уральской» концепции, отражают невозможность создать в рамках этой моноцентрической теории адекватную картину формирования финноязычных этносов в лесной зоне между Уралом и Балтикой. Реальный выход из сложившейся, довольно запутанной ситуации, на мой взгляд, состоит не в дальнейшей модернизации восточной миграционной теории, а в отказе от ее традиционной формы и сопутствующего представления о смене языка в западных регионах финно-угорского ареала. Я склонен принять пусть слабо разработанную, но в целом более адекватную полицентрическую гипотезу первоначального сложения финских этносов с их последующей интеграцией восточным компонентом и не рассматривать сходство их языков как наследие былого единства. Опираясь на археологические данные, в настоящее время можно говорить по крайней мере о верхневолжском и камском центрах сложения предфинноугорских этносов в лесной зоне Европейской России. Западнее и севернее верхней Волги такие центры пока четко не выявляются.

Перейдем к краткой характеристике имеющихся данных. Культура железного века в Карелии более дифференцирована, чем древности бронзового века (рис. 2). «Ананьинский» культурно-хронологический пласт древностей представлен более чем 130 поселениями разной величины. Они отнесены к четырем локальным культурам (позднекаргопольская, лууконсаари, «арктическая», позднебеломорская), имеющим более или менее отчетливые признаки смешения черт собственно ананьинской культуры Прикамья и западных древностей, преимущественно с сетчатой керамикой (Косменко, 1993). Эти поселения в Карелии датируются между 2500 и 1400–1300 л.н. по импортным камско-уральским вещам и  $C_{14}$  (Косменко, 2003). Могильники не обнаружены. Смещение обоих культурных типов четко прослежено и в среднем Поволжье, но гибридная культура там исчезла, как полагают А. Х. Халиков и С. В. Кузьминых, в конце VI в. до н.э. после ухода населения на северо-западные территории (см.: Ишмуратова, 1975; Халиков, 1977; Кузьминых, 1983). Западная граница ареала культур ананьинского пласта в Фенноскандии почти идентична ареалу субстратных древностей с сетчатой керамикой. Керамика «арктического»



**Рис. 2. Культуры ананьинского пласта древностей на Севере Европы**

а – культура с керамикой «арктического» типа; б – позднебеломорская; в – лууконсаари; г – позднекарогпольская; д – древности аозинско-ахмыловского типа; е – ананьинская; ж – культуры Европейского Северо-Востока; з – культура морбю

типа, по К.-Ф. Мейнандеру (Meinander, 1969), а по другой классификации «типов», вернее групп Ловозеро и Кьельмо (Jørgensen and Olsen, 1988), есть в северной Карелии и Финляндии, на Кольском полуострове и практически во всей Скандинавии. Керамика лууконсаари распространена в западной Карелии южнее озер Куйто

(Косменко, 1993), а в Финляндии к югу от озерно-речной системы Оулу (Meinander, 1969). Позднекаргопольская культура кроме юго-восточной Карелии (Косменко, 1993) охватывает южную часть бассейна р.Онеги и район оз.Белого (Манюхин, 1996). Позднебеломорская культура распространена в прибрежных районах южной части Белого моря в Карелии и Архангельской области, но ее восточный предел пока неясен (Косменко, 1993).

Эти локальные культуры достаточно условны и, в сущности, представляют собой фазы процесса сложения круга культур с ананьинскими элементами в Северо-Западной России и Восточной Фенноскандии. Между культурами нет резких границ, а наблюдаются переходные зоны, где сочетаются признаки граничащих типов. Количество материалов в Карелии заметно уменьшается в западном и северном направлениях. Здесь известны 55 поселений позднекаргопольской культуры, на которых выделены остатки 1010 сосудов, 29 поселений лууконсаари с 320 сосудами, 33 поселения позднебеломорской культуры с 202 сосудами и 5 пунктов с 10 сосудами «арктического» типа (Косменко, 1993).

Как и в бронзовом веке, процесс изменений в культуре ананьинского пласта шел по пути разрушения первоначальной структуры обоих основных компонентов, деградации и уменьшения количества традиционных восточных элементов в направлении распространения культуры к западной, особенно северо-западной границе ареала. Эти изменения четко прослеживаются в традиционных деталях керамики. Так, ананьинскими шнуровыми орнаментами украшено 90–100% посуды в Прикамье, 30–50 в среднем Поволжье, 18 в Каргополье и Белозерье, 22,2 в юго-западном Беломорье (позднебеломорская культура), 9 в юго-восточной (позднекаргопольская), 1,6% в юго-западной Карелии (лууконсаари); в северной Карелии и Финляндии этих орнаменты единичны, а на севере Фенноскандии их нет. Соответственно возрастает число посуды с гребенчатыми и прочерченными узорами, структура которых свойственна главным образом сетчатой керамике. Есть и орнаменты гибридного облика.

Нужно сказать, что многие орнаментальные композиции обоих типов сохранили исходную структуру, но основные мотивы

узора часто упрощены и трансформированы, образуя местные технические вариации – пояса проташенного зубчатого штампа, каннелюры, прочерченные пояски и др. Число местных вариаций со временем возрастало, особенно на юге Карелии, а в Финляндии они абсолютно преобладают. В направлении распространения культуры увеличивается и число орнаментов субстратного, западного типа. Так, в юго-восточной Карелии выделено 29,2% посуды с различимыми узорами «восточного» и 29% «западного» типов, в юго-западной – 25,7 и 32,5, в южном Беломорье – 33,6 и 41,1, а в северных районах – 10 и 90%. В Северной Фенноскандии есть лишь единичные экземпляры мотивов восточного типа. Сходным образом дело обстоит и с другими «традиционными» деталями посуды. Кроме того, с гибридной культурой в Восточную Фенноскандию внедрилась традиция производства бронзовых кельтов ананьинского типа, а в стиле их декора появились оригинальные черты. Между тем большинство кельтов найдено в Финляндии, близ западной границы ареала гибридных культур ананьинского круга, что предположительно связано с необходимостью налаживать местное производство этих орудий за недостатком импортных изделий (Косменко, 1993).

Смешанный комплекс традиционных признаков изменялся во времени медленнее, но экологическая адаптация создателей гибридных культур в Карелии протекала интенсивнее, чем в бронзовом веке. Шире использовались местные минералы – асбест и слюда как примеси в глине посуды, а количество привозного кремня в западных районах заметно уменьшилось за счет использования местных пород – кварца и сланца (Косменко, 1993). Впрочем, в железном веке резко сократились количество и ассортимент каменных орудий, который ограничен скребками, наконечниками стрел и редкими нестандартными рубяще-долбящими орудиями. Во второй половине I тыс. до н.э. возникло местное производство сыродутного железа из озерной руды (Косменко, 1992; Kosmenko and Manjuhlin, 1999; Косменко, Манюхин, 2000). Есть основания связывать его зарождение с восточными традициями, но в Карелии и Финляндии возникла оригинальная местная форма железоделательных горнов в виде небольших каменных ящиков. Специализированные

пункты металлообработки отсутствуют, нет и набора соответствующих инструментов. Основные черты сравнительно подвижного образа жизни лесных охотников-рыболовов железного века сходны с таковыми в субстратной культуре сетчатой керамики. Они отражены в заселении приустья рек и памятников каменного – бронзового веков, отсутствии зимних поселений и стационарных полуполуземляных жилищ на песчаных берегах глухих озерных заливов.

На протяжении железного века в Карелии заметно преобладали камско-уральские связи (импортные украшения из камско-уральской бронзы); слабее были контакты с Прибалтикой (железные кельты восточнобалтийских типов). Любопытно, что контакты и какие-либо формы влияния культур железного века Поволжья здесь практически не выражены. Лишь в южных – белозерском и особенно онежско-каргопольском – вариантах позднекаргопольской культуры есть детали посуды и отдельные вещи, характерные для культуры дьяковских городищ (Манюхин, 1996, 2002).

Под воздействием всех указанных факторов сформировались местные особенности, на основе которых выделены перечисленные локальные культуры и их варианты. Пока не вполне ясен состав субстратного компонента в северных областях ареала, точнее, соотношение местных и поволжских элементов, свойственных главным образом сетчатой керамике; слабо изучен генезис субстратного компонента и в культуре южного Беломорья. Решение этих вопросов находится на путях тщательной разработки техники анализа керамических комплексов в разных областях ареала с ананьинскими элементами.

В лесной зоне в раннем железном веке, несомненно, были и передвижения групп населения на запад. Можно обратить внимание на различия между материалами южного Беломорья и бассейна Онежского озера, а также юго-восточного побережья Онежского озера и остальной Карелии (см.: Косменко, 1993). Генезис позднебеломорской культуры явно не имеет отношения к более южным, типологически близким культурам лууконсаари и позднекаргопольской, потому что посуды с шнуровыми узорами восточного облика здесь около 22%, т.е. гораздо больше, чем в южных культурах (до 9%), где преобладают местные вариации этих орнаментов.

В Беломорье крайне слабо представлен субстратный компонент, связанный с сетчатой керамикой, – сложные гребенчатые узоры гораздо ближе орнаментике посуды более восточных культур типа лебяжской, поэтому культуру южного Беломорья невозможно рассматривать как ответвление южнокарельских культур. Ее происхождение, вероятнее всего, связано с малоизученными восточными районами бассейна Белого моря в Архангельской области, где есть отдельные поселения наподобие Красной Горы и др. (Фосс, 1952).

Менее значительны различия между обликом позднекаргопольской культуры юго-восточного берега Онежского озера и соседнего, водлозерского ее варианта на юго-востоке Карелии. Они состоят, помимо прочего, в почти полном отсутствии на онежской посуде местных технических вариаций орнаментов восточного типа. Это сближает ее с керамикой поселений Каргополя, т.е. среднего течения р. Онеги. Такие явления с достаточным основанием можно рассматривать как отражение перемещений групп населения из бассейна р. Онеги на запад, в результате которых сформировался онежско-каргопольский локальный вариант культуры. В общем, этот поток шел двумя путями – в основном из Поволжья на восток Фенноскандии, а также вдоль северной части лесной зоны, ослабевая к западной и северной границам ареала гибридных культур.

Нужно подчеркнуть, что некоторые традиционные черты культуры железного века кое-где сохранились до современности. Анализ истоков стиля орнамента современных саамов Северной Фенноскандии показал, что архаичный комплекс зональных геометрических узоров саамов восходит к орнаментике культуры железного века с керамикой «арктического» типа (Кьельмо) и сложился не ранее этого времени, тогда как древний комплекс изобразительных мотивов народного искусства восточных балтийских финнов – карел и вепсов – сформировался в раннем Средневековье, хотя отдельные элементы восходят к более ранним периодам, включая железный век (Kosmenko A. P., 1996; Kosmenko A. P., 2002). Здесь мы не касаемся процесса сложения собственно балтийских финнов, которые, по традиционным представлениям финских исследователей, первоначально формировались на юго-западной периферии финноязычного ареала в области Финского залива (о соврем.

исслед. см.: Carpelan, 2001a), а в Средневековье расселились на север и восток, включая западную Карелию. Нужно отметить и ряд проблем, связанных с объяснением этноисторического содержания существенных изменений в культуре этой области в течение периодов неолита – Средневековья. В немалой степени они происходили под знаком контактов с соседними балто- и германоязычными культурами. Объяснения этих изменений археологами обычно не выходят за рамки моноцентрических концепций генезиса западных финноязычных народов, и к ним в полной мере относятся сделанные выше критические замечания.

Можно наметить общие контуры корреляции наиболее существенных явлений в языке и культуре. Для объяснения общей ситуации, на мой взгляд, решающее значение имеют описанные Б. А. Серебрянниковым (1967, 1977) различия такой традиционной, консервативной структуры, как грамматика языков пермских и волжских финнов. Он заключает, что общность грамматических систем волжских и более западных финских языков носит материальный характер и могла возникнуть только в тот период, когда они были близкородственными диалектами. Иначе выглядит сходство между марийским и пермским языками, которое, несмотря на отдельные влияния, имеет типологический характер и не отражает органическую материальную близость их структур. Эти представления более адекватно сопрягаются с процессами в материальной культуре, чем схема языкового дерева.

При сопоставлении разных вариантов сложение западной группы «предфинноугорских» языков можно с наибольшей вероятностью соотнести с формированием в позднем бронзовом веке ареала культуры сетчатой керамики верхневолжского происхождения. Можно прогнозировать ее этноязыковую дифференциацию, особенно на позднем этапе в первой половине I тыс. до н.э., с вероятным включением субстратных языковых элементов в периферийных зонах ареала. Наоборот, интеграция в раннем железном веке ананьинской культуры и западных локальных культур стимулировала сближение восточных (древнепермских) и западных языков, что привело к сложению финноязычной общности на территории лесной зоны от Приуралья и, по меньшей мере, до бассейна Белого

моря включительно. Пермско-финская основа собственно ананьинской культуры Прикамья определяется достаточно надежно (Халиков, 1970), хотя авторы последних обобщающих и обзорных работ, как уже говорилось, излагают более сложные версии взаимоотношений между населением Прикамья и Поволжья в рамках восточной теории. Прочные связи между западными и восточными областями «ананьинского» ареала сохранялись не менее 1000 лет, если судить по преобладанию металлических вещей камско-уральских типов в Карелии. Во всяком случае, ситуация в раннем железном веке стимулировала сближение языков населения лесной зоны Европейской России и сыграла существенную роль в уральской палеоистории (Напольских, 1997б; Кузьминых, 2001а).

Для более надежной синхронизации языковых и культурных процессов нужно привлечь данные топонимики, имеющей дело со следами лексики реальных древних языков. Попытки установить соответствие основных пластов древней топонимии и культуры (Косменко, 1993; Косменко, Кочкуркина, 1996) привели к заключению, что трем основным пластам субстратных, дорусских названий в Карелии (волжский, саамский, прибалтийско-финский), вероятнее всего, в общем соответствуют три верхних пласта культур бронзового века – Средневековья (культуры сетчатой керамики, «ананьинского» пласта, средневековые культуры балтийских финнов).

Естественно, возникает ключевой вопрос о древней восточной топонимии в западных регионах. Его анализ затрудняет то обстоятельство, что детальная стратификация субстратной топонимии Российского Севера пока не разработана – выделены лишь основные пласты дославянских названий. Если ориентироваться на известные модели, то иноязычные топонимы в периферийных зонах этнической диффузии могут встречаться, скорее всего, лишь в виде отдельных вкраплений и топоформантов. Действительно, несмотря на присутствие традиционных элементов культуры прикамского происхождения, в Карелии нет собственно пермской гидронимии. Ее западная граница проходит восточнее р. Северной Двины, но отдельные названия есть в бассейнах рек Онеги и

верхней Волги (Афанасьев, 1985). В Карелии выявляются лишь отдельные гидронимы с трансформированными основами уральского происхождения (Куклин, 1997), но восточные топоформанты надежно не определены. Можно упомянуть распространенные на западе, кроме Обонежья и западного Приладожья, древние названия с руссифицированными окончаниями -ен(ь)га, -онга, -анга и финнизированными вариантами -ngi, -nki (Муллонен, 2002). М. Фасмер, Д. Европеус и Б.А. Серебренников и др. находили параллели этим формантам в языках урало-сибирских народов, но длительная дискуссия об их происхождении не окончена (ср. Серебренников, 1966 и Матвеев, 1970; краткий обзор см.: Муллонен, 2002), поэтому я воздержусь от однозначных суждений по столь специальной теме. Вероятно, эти топоформанты обозначают номенклатуру водных объектов (Шипов, 1997) и в принципе могут быть инородными. Они имеют те же местные основы, что и гидронимы с окончаниями -ма, -ла, -га, -ша, типичными для «волжского» слоя (ср. Андома – Андонга, Пертома – Пертьенга, Корбуша-Корбанга и др.). Присоединение к субстратным основам собственной терминологии природных объектов представляет хорошо известный способ усвоения местной топонимии иноязычным населением: на Северо-Западе так поступали и русские, перенимая многие древние названия (Сямозеро, Оровгуба, Гимрека, Рандручей, Мянъгора, Канзанаволок и т.п.). Впрочем, пока генезис упомянутых топоформантов надежно не выяснен, такая модель является лишь гипотетической.

Особо нужно отметить черты сходства ряда «волжских» и саамских гидронимов, а также этимологизацию части волжских названий из финно-угорских языков. В конечном счете фиксируется прибалтийско-финско-саамско-волжское происхождение основных пластов гидронимии Российского Севера, которая в ряде северо-западных регионов отчасти принадлежит исчезнувшим «северно-финским» языкам (Матвеев, 1969, 1970). Ранние саамские топонимы у южной границы их ареала, в Белозерье, вероятнее всего, соотносятся с позднекаргопольской культурой (Муллонен, 1991) – ее можно признать самой южной культурой саамов железного века (Манюхин, 2002).

Топонимика, как и археология, не фиксирует массовых передвижений однородного камско-уральского населения в северо-западные области лесной зоны Европейской России, но в субстратной гидронимии здесь нечетко проступает восточный компонент. Если учесть разницу структур современных западных и пермских языков и наличие общего слоя в их лексике, то речь может идти, вероятнее всего, о смешении лексики при сохранении структурного своеобразия языков гибридного западного и восточного, собственно ананьинского, этнокультурных массивов. Нет веских оснований предполагать в раннем железном веке смену языка в западных регионах лесной зоны, в частности переход местного населения на инородный язык восточного происхождения типов средиземноморского *lingua franca* или древнегреческого *koine*. Возможно допустить диффузию восточной лексики и наиболее подвижных структурных элементов в западные языки, в результате которой сформировалась группа языков с отчасти инородной лексикой, но с собственной морфологией и оригинальной фонетикой, что ближе типу *pidgin*. Нельзя исключать и распространение двуязычия, особенно в переходной зоне в среднем Поволжье. Современное состояние западных финно-саамских языков в главных чертах сохранило основу, заложенную в бронзовом и железном веках; это же можно с оговорками сказать и об их ареале. Становление, по меньшей мере, финской языковой общности произошло только во второй половине I тыс. до н.э., после появления интегрирующего ананьинского компонента в западных областях лесной зоны. Итак, процессы в культуре и языках ананьинского ареала, судя по всему, протекали по сходной модели, но остаются не вполне ясными конкретные формы языкового взаимодействия в ходе интеграции, как и степень различия обеих групп языков до ее начала.

Согласно В. П. Алексееву, в раннем железном веке в лесной зоне Европейской России распространились и расовые элементы восточного происхождения, однако конкретные формы и результаты смешения разнородных расовых компонентов остаются неясными. Антропологические материалы бронзового – раннего железного веков в западных регионах отсутствуют из-за специфики погребальных обрядов. Последние, судя по всему, сохранили

традиции субстратной культуры сетчатой керамики, могильники которой неизвестны, исключая такие памятники южной контактной зоны в Поволжье, как Дикариха и др., позднее Акозинский могильник, где захоронения сделаны по обряду соседних культур, но есть сетчатая посуда. Традиции в основной части ареала исключали грунтовые захоронения. Вероятнее всего, это невосполнимый информационный пробел.

Пока нет детальных разработок для обоснования конкретного этноисторического содержания процесса интеграции в целом, но его отличия от миграционной модели сложения культуры бронзового века в Карелии вполне очевидны. Наиболее вероятным выглядит общий сценарий инфильтрации ананьинского населения в среду западных этносов. Конкретизировать такую модель очень непросто. Сосуществование западных и восточных элементов (Кузьминых, 1983), по другой версии их слияние (Патрушев, 1987), особенно наглядно представлено в Ст. Ахмыловском могильнике в среднем Поволжье. Сохранение двух разнородных компонентов в наиболее «традиционных» сферах культуры Восточной Фенноскандии позволяет говорить скорее о симбиозе соответствующих традиций, чем об их полном слиянии, хотя нужно отметить гибридные элементы. Последовательное уменьшение доли восточного компонента в западных регионах «ананьинского» ареала, сохранение местных традиций в погребальном обряде и хозяйстве, более высокая, чем в бронзовом веке, степень экологической адаптации, отсутствие здесь выраженного пласта восточной топонимии служат доводами в пользу диффузионной, а не классической миграционной модели распространения камско-уральских этнических элементов и групп населения на запад. Образ жизни и, видимо, социальная организация населения северо-западной части лесной зоны существенно не изменились по сравнению с бронзовым веком, поэтому проникновение камско-уральского этноса на запад вряд ли сопровождалось регулируемыми формами властного контроля.

Последующее разделение финноязычной общности – это не только результат внутренних изменений и формирования локальных традиций, но и следствие разных вариантов адаптации к

местной природной и хозяйственно-культурной среде в Прикамье, Поволжье и на востоке Фенноскандии. Когда во второй половине I тыс. н.э. в Белозерье появилась культура могильников с трупосожжениями (Башенькин, 1986), произошло видимое размежевание между культурами лесной зоны Северо-Западной России и бассейна Волги. Его можно принять как условный археологический индикатор разграничения саамов и волжских финнов, которое в общем совпадает с южной границей саамской топонимии. На юго-западной периферии ареала, в районе Финского залива в железном веке обособились балтийские финны, которые многое переняли у германоязычных соседей бассейна Балтики, особенно древних скандинавов. Культурное и языковое обособление саамского этноса Восточной Фенноскандии могло лишь усилиться в конце I – начале II тыс. н.э., когда уральская ориентация основных связей сменилась главным образом на балтийскую. Способствовала ему и тенденция к охотничьей специализации местного населения на пушном промысле. Неодинаковая экологическая и культурная адаптация была решающим фактором разобщения финноязычных этносов Поволжья, Северо-Запада и Прибалтики в железном веке.

### ***Охотничье-рыболовецкие культуры эпохи Средневековья***

В конце I тыс. н.э. внешний облик материальной культуры на территории Карелии вновь заметно изменился. В X в. здесь фиксируются две территориально-культурные группы поселений с охотничье-рыболовецким хозяйством (Кочкуркина, Спиридонов, 1988; Косменко, 1992, 1996а). Одна группа заняла южную часть бассейна Онежского озера; несколько пунктов есть в устье р. Выг в южном Беломорье. Ее отличает употребление лепной посуды, близкой керамике синхронных курганов юго-восточного Приладожья. Остальную часть Карелии заняла культура поселений без глиняной посуды, известная на Севере Фенноскандии. Каким было этноисторическое содержание этих изменений? Прежде чем ответить на этот вопрос, приведем обзор материальной культуры обеих групп археологических памятников.

### *Культура с керамикой приладожского типа*

В Карелии выявлено более 30 пунктов с лепной керамикой, условно обозначенной как приладожский тип, которая иногда сопровождается единичными сосудами, сделанными на гончарном круге. Поселения существовали в течение X–XI вв. Около 20 пунктов сосредоточено в восточной части бассейна Онежского озера; примерно вдвое меньше памятников в западной его части, и лишь три пункта известны в приустье р. Выг в юго-западном Беломорье (рис. 3). Соответственно распределяется и количество находок, главным образом глиняной посуды. Поселения обычно располагаются на местах более древних поселений охотников-рыболовов в приустье рек на крупных и средних водоемах. На малых озерах и реках они единичны и бедны. Наиболее крупные памятники выявлены в приустьях рек Муромки на юго-восточном, Немены на северо-восточном и Суны на западном побережье Онежского озера; выразительная серия сравнительно небольших поселений расположена на р. Водле и в приустьях рек на Водлозере и Сямозере. Повидимому, к этой же культуре относятся два небольших курганных могильника у деревень Кокорино и Челмужи на Онежском озере. Обнаружены и два единичных грунтовых захоронения в приустье Муромки и на Водлозере. Судя по всему, основной путь расселения и направление интенсивной деятельности проходили с юго-запада на восток через юго-восточное побережье Онежского озера по р. Водле на Водлозеро; функционировал и северный путь из Онежского озера на Белое море через р. Выг. Нет оснований говорить о том, что географическое размещение этих памятников продолжает традиции культур железного века. Сходство топографии поселений и подвижного образа жизни обусловлено не преемственностью культуры, а сходными формами адаптации к местной природной среде.

Остатки сооружений на поселениях очень малочисленны. Отмечены косвенные признаки наземных жилищ с основаниями точно не зафиксированных очертаний. Некоторые из них явно представляли собой легкие сооружения типа чумов с очагом в центре, в других случаях возможно говорить о небольших, видимо, бревенчатых постройках с печами-каменками или каменными очагами.

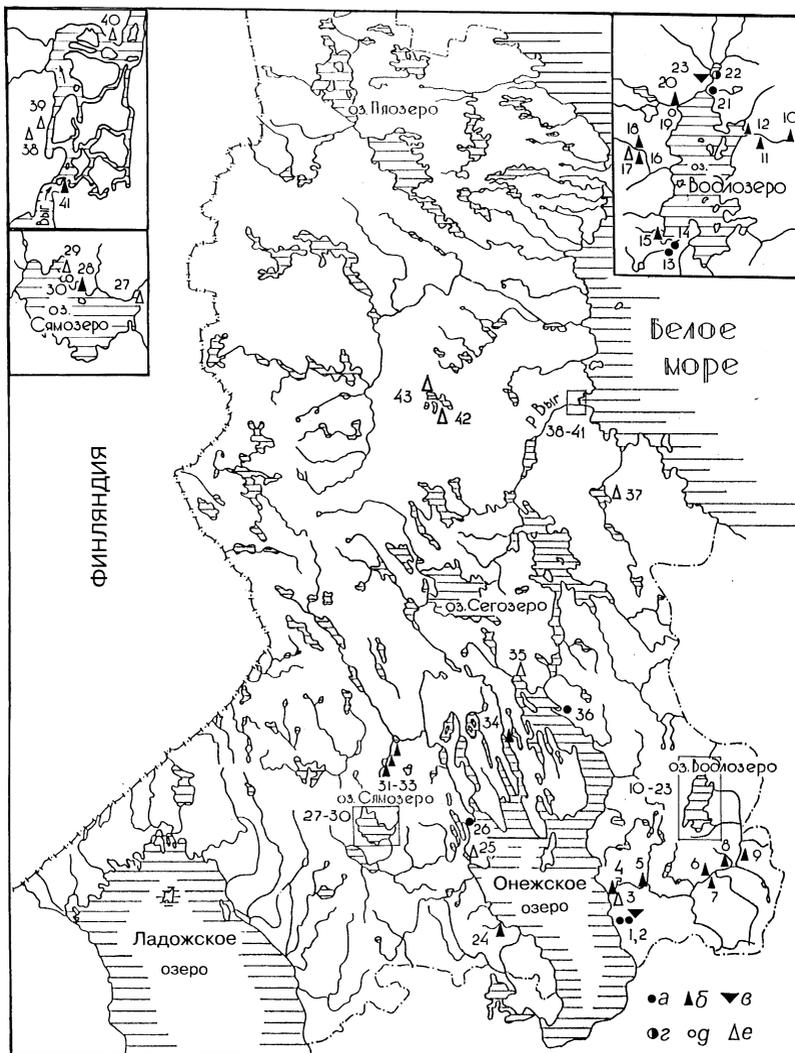


Рис. 3. Раннесредневековые поселения и погребения

а – крупные поселения с керамикой; б – кратковременные поселения и местонахождения; в – погребения; г – поселения смешанного облика; д – крупные бескерамические поселения; е – кратковременные поселения без керамики

На трех поселениях обнаружены остатки небольших наземных железоделательных горнов из глины и камней, а также горнов в ямах, которые сооружались в целях производства ограниченного количества металла для внутреннего пользования. Специализированные пункты кузнечного ремесла или обработки цветного металла не обнаружены. Хозяйственные ямы и иные сооружения обычно тоже отсутствуют.

Грубая лепная неорнаментированная посуда и раннегончарная керамика имеют много общего с керамикой курганов юго-восточного Приладожья, но на нескольких поселениях восточной части бассейна Онежского озера найдены фрагменты единичных, бедно украшенных лепных сосудов с оттисками зубчатого штампа, шнуровыми поясками, трубчатыми отпечатками, которые находят параллели на поселениях Белозерья и отражают связи с синхронной культурой этого района. Набор видов железных изделий гораздо богаче, чем в железном веке, и представлен железными топорами, теслами, ножами, шильями, наконечниками стрел и дротиков, кресалами, лодочными заклепками, сковородками, рыболовными крючками и др. Богат ассортимент бронзовых украшений, среди которых есть фибулы, пряжки, браслеты, гривны, бляшки, привески и пронизки. Довольно разнообразны стеклянные бусы. На периферийных поселениях изредка встречались обломки медно-бронзовых котлов. В целом преобладают привозные вещи самого разного происхождения, многие типы которых широко бытовали в раннесредневековых культурах лесной зоны на Севере Европы. Их распространение на Северо-Западе России связано преимущественно с интенсивным торговым обменом на балтийско-волжском пути в X–XI вв. Масштабы местного производства металлических изделий точно не установлены, но их ассортимент, видимо, ограничивался железными ножами, наконечниками стрел и другими простыми бытовыми изделиями. На поселениях нет ни специализированных пунктов кузнечного ремесла, ни соответствующего набора орудий.

Традиционная топография поселений и состав культурных остатков свидетельствуют об охотничье-рыболовецком хозяйстве и относительно подвижном образе жизни их обитателей, однако

размещение самых крупных поселений не совпадает с центрами обитания в железном веке, особенно на западе Карелии. Кроме того, на Онежском озере есть два курганных могильника, а в жилище на поселении Челмужи, расположенном неподалеку от одноименных курганов, найдены кости крупного и мелкого рогатого скота (Кочуркина, Спиридонов, 1988). Эти памятники отражают тесные связи с Приладожьем. Тем не менее на большинстве памятников нет прямых и косвенных признаков наличия производящего хозяйства – они, скорее, представляют собой специализированные поселения охотников на пушного зверя, если судить по относительно обилию и разнообразию форм наконечников стрел.

На юго-востоке Карелии только они могут соотноситься с верхним, прибалтийско-финским пластом субстратной топонимии, который вскоре был перекрыт слоем славяно-русских названий, возникшим после крестьянской колонизации этого района. Культуру приладожских курганов можно соотносить с местной топонимией вепского облика (Муллерен, 1994). Вероятно, и среди носителей культуры с лепной керамикой X–XI вв. на юге Карелии тоже преобладал инородный балтийско-финский компонент. Речь может идти о проникновении в бассейн Онежского озера предков современных вепсов, которое не носило характера массового заселения и не привело к оседлости переселенцев. Это были поселения промысловиков и, видимо, торговцев. С упадком торговли на балтийско-волжском пути к XII в. поселения с лепной керамикой прекратили существование.

### *Бескерамическая культура*

Несколько иначе дело обстоит с бескерамическими поселениями Онежского бассейна. Раннесредневековые поселения Карелии без глиняной посуды (14 пунктов) тоже располагаются в приустьях рек на многослойных поселениях. Радиоуглеродные даты и вещи бескерамической культуры укладываются в рамки IX–XIV вв., но возможно, что она сложилась несколько раньше и существовала немного дольше. Несомненно, таких поселений было больше, но из-за отсутствия керамики их выявление сопряжено с определенными трудностями, потому что датированные привозные металлические и

иные изделия довольно редки, а в северных районах практически отсутствуют. Любопытно, что наиболее крупные поселения находятся в пунктах, где располагались самые большие поселения железного века. Географическое размещение бескерамических памятников отличается от синхронных поселений с керамикой: их почти нет на Онежском озере, но сравнительно много на периферийных участках его бассейна, особенно на оз. Сямозеро. Есть признаки наличия бескерамических поселений и в юго-западном Беломорье. В целом они располагаются севернее и западнее поселений с керамикой приладожского типа. В некоторых пунктах в контактной зоне, которая наблюдается на юге Карелии в северной части Онежского озера, Водлозера и Сямозера, есть явные признаки неоднократных посещений населением обеих культурных групп.

На бескерамических поселениях отсутствует упорядоченная планировка, а на самых крупных памятниках заметны следы периодических заселений в раннем Средневековье. Есть очаги на местах наземных жилищ легкой конструкции типа чумов, а на одном из поселений обнаружены следы небольшого прямоугольного, видимо бревенчатого, жилища. Раннесредневековые железодельные горны многократного использования в виде каменных ящиков, датированные по  $C_{14}$  IX–XII вв., практически идентичны горнам железного века, однако нет признаков развитой металлообработки. Жители поселений не практиковали производящие отрасли хозяйства, вели сравнительно подвижный образ жизни и преимущественно специализировались на добыче пушного зверя.

Видовой и типологический состав металлических орудий, украшений и стеклянных бус на поселениях бескерамической культуры в южной Карелии практически мало чем отличается от набора вещей на синхронных памятниках с керамикой X–XI вв., однако некоторые бескерамические комплексы содержат вещи XIII–XIV вв. Кроме того, для поселений бескерамической культуры характерны находки обломков медно-бронзовых котлов, заменявших глиняную посуду. Сходство ассортимента импортных вещей обусловлено общей ориентацией торговых связей на балтийско-волжский путь, вероятно, через приладожских посредников. Вряд ли можно сомневаться в том, что основным местным товаром были меха.

Пока точно не определена нижняя хронологическая граница бескерамической культуры в Карелии, а также степень вероятного влияния или участия северных групп саамов ее в сложении. В Северной Фенноскандии керамика исчезла, по разным оценкам, в промежутке 0–300 лет н.э., когда произошел переход к «саамскому железному веку» (Карпелан, 1979; Jørgensen, 1986; Olsen, 1994), но, по наблюдениям автора (Косменко, 1993), производство глиняной посуды на юге Карелии прекратилось не раньше середины I тыс. н.э. Пока в южной Карелии не выявлены элементы и комбинации, специфичные для культуры саамов Северной Фенноскандии.

Обзор материальной культуры обеих групп показывает, что здесь доминируют элементы хозяйственно-культурного приспособления к конкретной исторической ситуации. Нужно отметить сходство направления и форм культурной и экологической адаптации, которые нивелируют облик культуры обеих групп. Речь идет о переориентации местного населения на интенсивную меховую торговлю, которая процветала на балтийско-волжском пути в X–XI вв. На всех поселениях преобладают привозные изделия разного происхождения, особенно украшения, и есть косвенные признаки охотничьей специализации на добыче пушного зверя при сравнительно подвижном образе жизни. Нет укрепленных поселений и специализированных видов оружия. Несмотря на то что обе культурные группы в общем продолжили хозяйственно-культурные традиции населения железного века северной части лесной зоны, традиционные элементы в сохранившихся археологических материалах выражены очень слабо.

Учитывая скудость традиционных элементов, сходство форм адаптации к местной природной среде и практически одинаковый состав импортных вещей, все же есть основания говорить о том, что обе культурные группы имеют разное происхождение. Совпадение мест крупных поселений железного века и бескерамических памятников раннего Средневековья, идентичность железодельных горнов наводят на мысль преемственности культуры этих периодов. В бескерамической культуре хрупкую глиняную посуду заменили импортные медные котлы, очень удобные при подвижном образе жизни. Преобладание элементов культурной адаптации

и традиционное размещение поселений дают основания полагать, что сложение этой культуры не сопровождалось в Карелии сменой населения, а вызвано приспособлением южных лесных саамов к новым историческим условиям. Данные топонимики и исторических источников не расходятся с выводом о пребывании групп саамского населения в южной Карелии в первой половине II тыс. н.э. Такие названия в южной Карелии, как Лобское, Лопская, Лапиннаволок, свидетельствуют о контактах первого прибалтийско-финского и русского населения с лопарями. Поселение лопи на юго-восточном побережье Онежского озера упомянуто в «Житии Лазаря Муромского» (Петров, 1886), где повествуется о событиях середины XIV в.

Наконец, нужно коснуться вопроса о дальнейшей судьбе саамов в Карелии. Возможно, что к середине II тыс. н.э. сравнительно малочисленные южные лесные саамы, по крайней мере на западе Карелии, перешли к оседлому образу жизни, сохранив прежние основные направления хозяйственной деятельности – промыслы и торговлю. Позднее они интегрировались с карелами и приняли их язык. Сведения о средневековых саамах очень скудны в письменных источниках, а их материальная культура археологами не изучена, однако нет сведений о каких-либо формах этнической консолидации саамов Карелии в Средневековье и сложения среди них потестарных племенных образований, как и прямых свидетельств вытеснения саамов карелами и русскими. Не освещен и процесс их интеграции – этнический состав населения документально не фиксируется.

После утраты в 1478 г. самостоятельности Новгорода среди бывших новгородских владений в рамках Водской пятины были выделены семь Лопских погостов в западной Карелии: Линдозерский, Семчезерский, Селецкий, Паданский, Ругозерский, Панозерский, Шуезерский. Лопские погосты подчинялись новгородской администрации, но имели по царской грамоте 1530 г. элементы самоуправления, включая сбор и доставку налогов, а с 1648 г. перешли в подчинение олонекских воевод, назначавшихся из Москвы. Центр самого южного Линдозерского погоста находился в среднем течении р. Суны, а в начале XVII в. отдельные семьи лопарей селились и на западном берегу Онежского озера, например в Ялгубе.

Население погостов по традиции занималось преимущественно охотничьим и железоделательным промыслами, а также изготовлением мехов, железных изделий, винокурением и др. Земледелие и животноводство не были основными источниками средств существования, особенно в северных погостах. Отчасти поэтому там получила развитие торговля и контрабанда различных товаров из соседних областей Швеции и обратно. Систематический недобор торговых и таможенных пошлин в этих погостах побуждал олонецкие власти принимать соответствующие меры. Товары из Лопских погостов находили спрос в Архангельске, Новгороде, Старой Руссе, на Макарьевской ярмарке в Поволжье (Карелия в XVII веке, 1948).

Во второй половине XVI – середине XVII в. серьезный урон многочисленному населению этих погостов нанесли русско-шведские войны. В письменных источниках есть отрывочные упоминания об истреблении саамов шведскими отрядами на западе Карелии; другие общины, возможно, откочевывали в более безопасные районы. Серьезным бременем легла на жителей и солдатская повинность, которую Московское правительство временно ввело в середине XVII в. К 1695 г. на обширной территории Лопских погостов насчитывалось только 1500 дворов, предположительно с 6–7 тыс. жителей.

Этнический состав жителей погостов в XVII в., вероятно, был неоднородным. По меньшей мере, некоторые местные жители не знали русского языка, как свидетельствует казус в Олонце с выборным таможенником от Лопских погостов С. Антиповым из Селецкого погоста, который, отчасти по этой причине, добровольно попросил отставки в 1695 г. В целом же очевидно, что потомки оседлых саамов в это время не были объединены собственной устойчивой системой этносоциальных и культурных связей. Они интегрировались в сложившуюся этноязыковую и хозяйственно-культурную среду, как и в систему административного контроля Московского государства. Тем не менее карелы Сегозерья – территории бывших центральных Лопских погостов (Семчезерский, Селецкий, Паданский) – называют себя «лаппи», свой язык определяют как лопарский и сохранили ряд выраженных саамских признаков в культуре и физическом облике (Бубрих, 1947; Материальная культура... 1981; Хартанович, 2003).

В конечном счете средневековые саамы в Карелии не консолидировались как этнос, несмотря на административно-территориальное обособление и определенную культурно-хозяйственную специфику, по-видимому, во многом из-за редкости населения, отсутствия регулярных, устойчивых внутренних связей и неблагоприятной политической ситуации на северо-западной границе Московского государства.

\* \* \*

В итоге можно заключить, что и форма, и этноисторическое содержание процессов смены археологических культур Карелии бронзового века – раннего Средневековья значительно различались. Характеризуя эти изменения на общем концептуальном фоне, нужно заметить, что они не вписываются в жесткие рамки моноцентрических гипотез генезиса западных финноязычных народов, декларирующих единственную – западную либо восточную – расовую, языковую и культурную основу их сложения. Реальные процессы были сложнее и свидетельствуют в пользу концепции смешанного происхождения западных финноязычных культур и этносов во всех сферах, где местный компонент оставался основой. Предварительно можно говорить о верхневолжском и камском центрах сложения «предфинно-угорских» этносов на территории Европейской России, которые позднее, в железном веке, интегрировались под воздействием камских финно-угров.

Инородная культура сетчатой керамики бронзового века Карелии содержит комплекс традиционных элементов поволжского происхождения при отсутствии заметных признаков адаптации к субстратной культуре и ограниченной степени приспособления к природной среде. В данном случае вероятны радикальные этнические изменения вплоть до полной смены языка в результате миграции населения из верхнего Поволжья. В бронзовом веке сложилась общность предфинноугорских этносов Поволжья, Северо-Западной России и Фенноскандии при доминирующей тенденции их культурного и этнического дробления. Только в данном культурно-хронологическом пласте древностей Карелии отчетливо выделяются традиционные элементы, свойственные степным культурам позднего бронзового века, и детали, восходящие к поволжским культурам с шнуровой керамикой и боевыми топорами.

Иначе складывался ананьинский пласт культуры в раннем железном веке. Здесь отчетливо выражено смешение традиционных элементов поволжского и камско-уральского происхождения, более интенсивной была культурная и экологическая адаптация. В культуре преобладает субстратный компонент; нет веских оснований предполагать и полную смену языка на восточный, исключая внедрение новой лексики. В данном случае можно говорить о диффузии восточных элементов в среду западных этносов, происшедшей, видимо, во всех сферах вследствие смешения разнородного населения. Данный пласт древностей в Карелии связан с формированием южных саамов, а сложение ананьинского культурного ареала в целом означало становление финноязычной общности. Это был единственный на Северо-Западе России процесс смены культурных типов, сопровождавшийся широким распространением бесспорно восточных, камско-уральских элементов.

Смену культуры в раннем Средневековье отличает преобладание черт хозяйственно-культурной адаптации к новым историческим условиям. Культура поселений с лепной керамикой отражает ранний этап продвижения в бассейн Онежского озера балтийских финнов, видимо древних вепсов, которые прочно не осели в этом районе и занимались охотой и торговлей. Саамы прекратили производство керамики и продолжали занимать большую часть Карелии. Основное уральское направление их связей были переориентировано на бассейн Балтики, и это обстоятельство, наряду с усилением специализации на добыче пушнины, ускорило обособление южных саамов от поволжских этносов. Лесные саамы, видимо, позднее осели в погостах и в конечном счете интегрировались с карелами. Формирование современной этнической карты Карелии в общих чертах завершилось только к XVIII в. в рамках Московского государства.